

Яна Долевская

ГОРИЦВЕТ

песной роман



Яна Долевская

Горицвет. Лесной роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21539213

Мультимедийное издательство Стрельбицкого;

ISBN 978-1-387-75261-4

Аннотация

Никольское, родовое имение Ельчаниновых – одно из немногих «дворянских гнезд», сохранивших к началу XX века относительную доходность. Молодой хозяйке имения – Жекки Аболешевой, урожденной Ельчаниновой, приходится нелегко. Засуха, неурожай, денежные долги, весьма непростые отношения с мужем, – все это, казалось бы, вполне способно выбить почву из-под ног. Однако Жекки не унывает. Материальные и бытовые трудности, которые посылает судьба, кажутся ей вполне преодолимыми. Но вот однажды она случайно узнает из разговора двух незнакомых людей о существовании некоего Темного Князя – оборотня, издревле властвующего над всеми окрестными лесами. Внезапная догадка о том, что оборотень – это ее давний знакомый, волк по имени Серый, некогда спасший ей жизнь, провоцирует Жекки на весьма рискованные поступки, о которых она со временем должна будет неминуемо пожалеть...

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	16
III	25
IV	35
V	48
VI	64
VII	75
VIII	84
IX	92
X	99
XI	109
XII	116
XIII	121
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Яна Долевская

Горицвет

Лесной роман

Часть первая

I

Тропа шла вдоль извилистого оврага, заросшего травой и колючим кустарником. Когда-то давно, как рассказывают, в самой глубокой его промоине, на дне, под навесом из густо переплетенных корней и трав, был устроен схрон разбойников, наводивших ужас на всю округу. Они грабили и убивали проезжих купцов, помещиков, не брезговали даже нищими. А еще прежде, когда поблизости не было нынешних деревень, в нем находили пристанище целые волчьи стаи. С тех самых пор, а каких именно, теперь мало кто вспомнит, это гиблое место и прозвали Волчий Лог. От него по сей день никольские мужики, и особенно, бабы и ребятишки, старались держаться подальше. Уж больно страшные были, перепутанные с еще более жуткими вымыслами, окутывали это «заклятое урочище».

Жекки иногда вспоминала, что семейная легенда приписывала одному из ее далеких пращуров – отпрысков большого служилого рода – верховенство над теми самыми разбойниками. Помнила и совсем уж невероятные рассказы о своей прапрабабке-колдунье, будто бы привораживавшей лютым зельем добрых молодцев. Но эти, как и другие, впитанные с детства «преданья темной старины», не занимали ее. Простонародные предрассудки, рожденные невежеством, трогали еще меньше. Она частенько проезжала вдоль Лога, незаметно привыкнув к тому, что ее разъезды вызывают у крестьян весьма недобрые пересуды.

Мужики сторонились нечистого места. Верили, что зло, засевшее «в глыби, под земной червоточиной», можно как-нибудь нечаянно растревожить. За молодую барыню из Никольского они, понятно, не беспокоились. Печалило мужиков, что через барскую опрометчивость и барские причуды неминуемые беды перекинутся на все «общество» или, того хуже – на все, что испокон века наполняло жизнью и смыслом известный им, разведанный мир.

На все бескрайние, раскинутые под сизым небом, грубо изрезанные межами, скудные и горькие от пота ржаные поля. На просторные пойменные луга с их душистыми травами, которые так сладко сочились после июньских дождей и так густо темнели от пробежавшего по ним угрюмого ветра, на прозрачную гладь вечно уклончивой в своих глинистых берегах речки Пестрянки, да еще – на глухие и пряные, как

мед, лесные чащобы, что надвигались со всех сторон, точно неприступные стены, накрепко, раз и навсегда, замкнув в кольцо плененную, но все еще не до конца покорившуюся землю.

А вот никольская помещица, вообще очень далекая от всякой мистики, упрямо отказывалась замечать какую-либо потустороннюю опасность. Напротив, точно рассчитав, что благодаря тропе, идущей через Волчий Лог, дорогу можно сократить, по крайней мере, на полторы версты, и будучи весьма практичной, Жекки никогда ей не пренебрегала.

Она благополучно выбралась на правый, более низкий склон оврага, сплошь покрытый мелкими кустиками горичвета, и ее взгляду открылись длинные, по-осеннему пустые, поля. Лишь на самом горизонте их обрамлял тлеющей кромкой желто-багровый лес.

Прозрачная сентябрьская дымка, повисшая над землей, сливалась с бездонно-белесой далью небес. Разряженный воздух звенел от малейшего колебания. Все звуки в нем обретали обостренную чистоту и пунктирную четкость. Так гулко и четко отзывалась под копытами Алкида земная твердь, пронзительно рвался и гудел, разрывааемый бешеной скачкой ветер, когда Жекки неслась верхом напрямик по жнивью. Легкий поток встречного солнца слепил, казался то нестерпимо белым, то огненно-алым, а запах жнивья, опавших листьев, и раннего холода, смешиваясь с запахом конского пота, опьянял как ежевичная настойка старого лесника

Поликарпа Матвеича, известная в их краях под названием «поликарповки», крепче которой Жекки никогда ничего не пила.

Она уже нисколько не понукала Алкида, дав ему полную волю. Конь летел, выбрасывая из-под копыт мелкие комья сухой земли. Когда же громоздившийся впереди лес заметно вырос, и каждое дерево стало хорошо различимо, Жекки слегка подтянула поводья, осаживая разгорячившегося любимца. Алкид отозвался послушной рысцой, поняв, что дальше лететь сломя голову не получится. Навстречу им выдвинулся молодой редкий ельник. Дальше начинался большой Каюшинский лес, и здесь, в широких просветах между темным лапником Жекки заметила бегущего трусцой еще одного своего давнего приятеля. «Пришел, хороший мой», – радостно поприветствовала она.

Рядом с человеком его вполне можно было принять за большую дворовую собаку. Высокий, на мощных, крепко поставленных лапах, с прямо опущенным пушистым хвостом, остро торчащими ушами, покрытый светло-серой, кое-где с пепельным оттенком, густой шерстью и резко суженной мордой, имеющей почти всегда одно и то же бесстрастное выражение, он неизменно производил на Жекки впечатление необыкновенного существа, хотя это был всего лишь волк, правда, необычно крупный и обладающий нетипичными для его собратьев повадками.

– Э-эй, Серый! – крикнула она, заметив, как он бежит

между елок, не сворачивая в сторону и не выпуская ее из виду. Серый прекрасно знал, что слишком резкое сближение не понравилось бы Алкиду. Конь с трудом переносил дикого знакомого хозяйки, несмотря на уже усвоенную привычку, проезжая через лес, всегда находить его поблизости.

Жекки еще сильнее осадил коня, направляя его в лесную чащу. Думала она сейчас о Сером. «Должно быть, я люблю его. Когда он рядом, становится как-то легче на сердце. И как он все понимает, лучше самого умного пса. Алкида надо вести, наставлять, приказывать, а Серый всегда сам знает, что можно, а чего нельзя. А когда он смотрит...» Тут Жекки невольно пришло на память, как минувшим летом она случайно встретила волка в лесу, у Зеленой заводи. И от этого воспоминания ее, как и тогда, слегка зазнобило.

В тот день было очень жарко. Спасаясь от жары, после полудня она уехала в лес, и, оставив Алкида неподалеку от просеки, пошла к заводи, чтоб искупаться. Как хорошо было, скинув с себя всю одежду, войти в чуть зеленоватую, мягко обволакивающую воду. Бухнуться в нее, широко расставив руки, и, весело окунувшись с головой, неспешно поплыть, наслаждаясь каждым движением среди блаженной прохлады. Жекки с детства хорошо плавала и любила плаванье почти так же, как верховую езду или игру в лаун-теннис. Вообще спорт привлекал ее заметно больше, чем уездные балы или музыкальные вечера под попечительством старшей сестры Ляли – Елены Павловны Коробейниковой, дамы черес-

чур «развитой» на взгляд местных обывателей, совершенно не понимающей, в отличие от Жекки, как молодой интересной женщине может нравиться «замуровывать себя в деревне». Конечно, Жекки была интересная и молодая, и даже, вполне замужня, но в ее представления о положенном ей образе жизни почему-то не входило очень многое из того, что старшая сестра считала необходимой, хотя и скучной, нормой.

Жекки с удовольствием бултыхалась, переворачивалась на спину, ныряла, подплывала к берегу под коряги, выпиравшие из скользкой глины, зная, что здесь ее никто не потревожит. Добравшись до берега, с чувством приятной расслабленности она прошла по траве, на ходу отжимая мокрые волосы. И вдруг увидела волка. Серый стоял, подмяв лапой ее полосатую блузку, брошенную неподалеку возле разошедшегося прибрежного пня. Бесстрастное звериное выражение его морды как будто исчезло, став осмысленным. Желто-зеленые глаза расширились. В них читалось нечто пугающее и вместе с тем необъяснимо трогательное. Жекки не то, чтобы испугалась, обмерла скорее от неожиданности.

«Серый, – проронила она, – что ты? Пожалуйста, не смотри так». Волк, как будто поняв, переступил на месте и отнял лапу. Жекки страшно торопилась, просовывая в рукава еще влажные, непослушно цепляющиеся за ткань руки. Потом, вплотную приблизившись к зверю, она несколько раз осторожно погладила его по голове между ушами. Зверь принял

этот ласкающий жест, и постояв с минуту, быстро ушел в чашу. Как ни звала его Жекки, в тот день он больше не появился.

После этого памятного свидания Серый куда-то пропал. Такое с ним случалось и прежде. Никогда нельзя было сказать наверняка, отправляясь на прогулку, встретятся они или нет. Бывало, он исчезал на месяцы. И тогда Жекки неподдельно скучала. Пожалуй, она даже не отдавала себе отчет в том, насколько сильно привязана к нему. Да, и что тут такого особенного? Существуют же в благоустроенных европейских городах зоосады и зверинцы, где люди постоянно общаются с представителями животного мира. И никто не выражает удивления, когда видит циркового дрессировщика, окруженного дюжиной африканских львов. Наоборот, все эти не вполне нормальные способы заявить о мнимом превосходстве человека над остальными животными, вызывают всеобщее сочувствие. А волк... разве он заслуживает меньше права быть понятым, чем какой-нибудь лев или бенгальский тигр, тем более что волки в лесостепной России встречаются гораздо чаще?

И все же Жекки не считала нужным излишне распространяться о своих лесных похождениях. Друзья и родные вряд ли одобрили бы ее необычное знакомство. Для нее приятельство с Серым было насущной потребностью, а вот для окружающих, малейший намек на него мог стать пресловутой последней каплей.

Жекки и без того была в уезде на дурном счету. Местное население находило ее экстравагантной. Жекки досадовала на них, тем более что не понимала, чем собственно, вызвано столь откровенное предубеждение. Не понимала, что вопреки нежеланию выделяться на общем унылом фоне, она со своим всегдашним стремлением поступать по-своему, точно бельмо на глазу заурядов. Тогда как на самом деле, она была всего лишь немного смелее и чуть-чуть безраличней к окружающему, чем все прочие. В конце концов, свыклись же местные чопорные интриганки с ее одинокими стремительными разъездами по полям и лесам. В черной амазонке или одетая по-мужски, верхом на золотисто-гнедом жеребце она проносилась, как вихрь, оставляя позади шлейф томительно-тонких духов, дымку пыли и завистливо-едкий шепоток. Привыкли и к тому, что в виду слабого здоровья супруга и его частых отъездов в город, Жекки сама занимается всеми хозяйственными делами: ведет счета, ездит по работам, нанимает людей, сама ищет покупателей для своего ячменя и ржи, торгуется с хозяином маслобойни, разбирается с векселями, долгами и процентами. Никому и в голову не приходило, что, начав заниматься всем этим по необходимости, она сделала весьма приятное открытие. Оказалось, самостоятельное ведение хозяйства не только помогает сводить концы с концами, но и доставляет своеобразное удовольствие, наполняя жизнь самыми увлекательными и разнообразными событиями.

Разумеется, замшелые деревенские дуры, прокисшие от беспросветного безделья, не могли и помыслить о каком-то другом счастье, кроме выгодного замужества. В отличие от них, Жекки довольно рано поняла, что не сможет удовлетвориться ограниченным набором предписанных ей женских радостей. Притом, что модные слова «суфражистка», «эмансипатка», «декадентка» и прочие, постоянно звучавшие в ее адрес, были ей не совсем понятны. Сказывалась восьми-летняя каторга Нижеславской гимназии с ее бесконечной зубрежкой, скукой, мрачным невысыпанием по утрам. Как следствие, позывы к интеллектуальным упражнениям истощились довольно рано. Жекки решила, что это не для нее. Тем более, перед глазами был безрадостный пример старшей сестры, обширная начитанность которой отнюдь не добавляла ей привлекательности в глазах местного общества. Жекки такое положение вещей не устраивало. Ей всегда хотелось слыть обыкновенной, считаться своей, быть, по меньшей мере, как все. Не ее вина, что это ей не совсем удавалось. Но как бы там ни было, соседи постепенно примирились с демонстративно неадаптивной активностью молодой помещицы. Спорт и переговоры с подрядчиками – это куда ни шло.

Несколько сложнее обстояло дело с некоторыми другими ее отклонениями от обывательской нормы. Например, с умением обходиться без корсета и мясной пищи. С весьма условной набожностью на фоне самого трепетного и участливого отношения к любым живым существам, включая и кое-

кого из себе подобных. С энергичной увлеченностью всем прогрессивным и необычным. Так всего лишь около года назад чуть-ли не весь уезд всполошился из-за задуманного ею (но в конечном итоге не осуществленного) плана по покупке новейшего немецкого агрегата – электрической молотилки с генератором. Чего только не свалилось тогда на бедную голову Жекки: де, и подвержена глупым идеям, и хочет разорить всех вокруг, сбив цены на обмолоченный хлеб, и вообще собирается учить мужиков хозяйствовать на заграничный манер, а где это видано, чтобы русские работали как немцы?

Ну и, разумеется, почти открытую неприязнь уездных обывательниц вызывала непроходящая популярность Жекки у противоположного пола. Это болезненно бросалось в глаза за все минувшее лето, пока в Инск из окрестного полевого лагеря то и дело наведывались офицеры, и на всех вечерах, где бы ни появлялась «мадам Аболешева», ей от них не было отбоя. Но если бы, не приведи бог, благочестивые инчанки узнали, что на самом деле думает Жекки об их мужьях или залетных офицерах, то полопались бы от возмущения. Чуть больше проницательности, и их глазам открылось бы неслыханное коварство, ибо все местные кавалеры были для Жекки на одно лицо: добродушные пьяницы, пустоголовые служаки, забавные ничтожества. По счастью, никто из них не хотел докапываться до ее мыслей, а внешняя миловидность женщины, как не без оснований полагала Жекки, прочно заслонит в глазах мужчин любые изъяны характера. «Будь я

дурнушкой, они бы давно сжили меня со света», — не раз думала она, выслушивая в очередной раз какой-нибудь неуклюжего воздыхателя.

И уж совершенно невозможно было дамскому обществу примириться с ее бессердечной уверенностью в себе, с вызывающим безразличием к бесчисленным сплетням, распространяемым на ее счет, с ее всегдашней отдельностью ото всех и вся, с подчеркнутой независимостью, легко перетекавшей в прямую дерзость, как только у кого-то появлялось неосторожное желание в чем-либо ограничить ее. Наконец, раздражала вся ее так называемая, безусловно мнимая, привлекательность, столь откровенно построенная на противоречиях. По-детски округлое, молочно-розовое лицо, точно взятое с рождественской открытки, и явно чужие ему, светло-стальные глаза. Упрямая линия подбородка и как будто насмехающиеся над ней беззастенчиво нежные губы. Незащищенная, опять-таки слегка открыточная, лилейная тонкость шеи и постоянно воюющая с наемной армией заколок и шпилек, упорно сопротивляющаяся диктату любых причесок, копна темно-русых волос.

Сама Жекки смотрела на себя немного иначе. Привыкнув находить в людях черты, сближающие их с какими-нибудь животными, она прекрасно сознавала, что внешне больше всего напоминает пышущую здоровьем, меланхоличную и своенравную буренку. Особенно выдавали это сходство глаза, большие и влажные, под трепетно вздрагивающими чер-

ными ресницами. В обыденности, не замутненной взрывами негодования или приступами своеволия, они смотрели на мир точно так, как смотрит, отрываясь от пережевывания травы, мирно пасущаяся на лужайке корова – томно и грустно. Но стоило чему-нибудь или, боже упаси – кому-нибудь, хотя бы слегка вывести ее из себя, и те же самые кроткие воловьи очи наливались угрожающим, сметающим все на своем пути, раскаленным металлом. Так что утвердившееся во мнении уездных «львиц» нелестное представление о Жекки, было не так уж далеко от истины: отбившаяся от стада бодливая коровенка, гуляющая сама по себе, да еще и сманивающая походя соседских быков.

II

«По крайней мере, Павлу Всеволодовичу наплевать на все это», – подумала Жекки, когда Алкид перешел на более резвую рысь. Она ехала, не разбирая дороги, через лес, по земле, сплошь усыпанной яркими листьями, зная, что не заблудится. Серого не было видно за деревьями, но Жекки не сомневалась – он где-то поблизости. «И пусть. Вы, месье Аболешев, прекрасно знаете, что мне безразлично, что бы вы ни думали», – подбадривала она себя, отлично сознавая, что это неправда, поскольку все, что так или иначе касалось ее мужа, Павла Всеволодовича Аболешева, на самом деле вызывало у Жекки самые живые, а в последнее время все более горькие чувства.

Но сейчас нужно было хотя бы немного развеяться. Жекки отдыхала в лесу. Здесь сердце билось ровней, мысли успокаивались. Она сознавала лес как чудо – живой огромный мир, существующий отдельно, таинственно, бесконечно давно. Ей нравилось ощущать свою сопричастность этому миру, не хотелось его покидать, возвращаясь в свой человеческий. Здесь она начинала по-особому чувствовать. Ее способность воспринимать окружающее не обострялась, не ослабевала, но становилась другой. Невольно свыкаясь с зыбкой чередой лесных запахов, звуков, составляющих невидимое множество жизней, Жекки как будто начинала смотреть вокруг

глазами существа, по воле случая вырванного из родной стихии, и теперь, столь же случайно водворенного в изначально предназначенную ему среду.

Остановив Алкида около огромной, уткнувшейся в небо столетней сосны, она прыгнула на землю и огляделась. Если обойти поляну и двинуться дальше через ельник вдоль темной ложбины, то можно выйти на старую просеку, прорубленную в прежние времена специально для удобства охотников. Просека выводила прямо к дому лесника Поликарпа Матвеича, которого Жекки решила сегодня навестить. Но для начала нужно было поздороваться с волком.

Теперь, когда Алкид остался на поляне, Серый, не спеша, подошел к ней. Присев на корточки, Жекки взгляделась в него. Какой же он большой и сильный. Пахнет чем-то знакомым и вместе – чужим, манящим и властным. Жекки протянула к нему руку, провела по жесткой шерсти волчьего загривка.

– Серенький, хороший, – сказала она, вслушиваясь в частое дыхание зверя, и ощутив, как через руку передается его тепло.

Волк покорно стоял, изображая готовность стерпеть от двуногой все, что ей заблагорассудится. Жекки притянула его к себе ближе и обняла за шею, как обняла бы любимую собаку. Она бы давно завела себе собаку, сенбернара, например, или еще какого-нибудь лохматого, но Аболешев не выносил собак. Приходилось с этим считаться.

– Хочешь хлебушка? Твой любимый.

Жекки протянула припасенный ржаной ломоть, и пока волк разжевывал угощение, заметила, каким он стал беззащитным. Должно быть, как все животные, когда они пьют или едят. И ни волк, и никакой другой зверь не стал бы так рисковать в присутствии человека. А Серый ее не боялся. Желто-зеленые глаза светились с благодушным спокойствием. Жекки обрадовалась, когда волк уткнулся мордой в ее ладони, пахнувшие хлебом, и неожиданно поняла, что он лижет их. У него был шершавый, но почему-то удивительно нежный язык.

– Вкусно? Ну, в другой раз привезу еще. А сейчас пойдем к Матвеичу. Мне нужно кое-что передать ему.

Жекки поднялась с корточек, ожидая, что волк, опередив ее, побежит в сторону просеки, но Серый не двинулся с места. Она посмотрела на него и увидела, что он смотрит на нее уже как-то иначе. Сейчас ей не хотелось бы встретиться в его взгляде ту человеческую осмысленность, которая когда-то так поразила ее. Следовало что-то предпринять, но она видела именно тот таинственный, притягивающий взгляд, и не знала, что делать. Внезапно между ними наступило какое-то затруднительное молчание, какое иногда возникает между двумя людьми, слишком хорошо знающими друг друга и боящимися произнести не те слова или прервать понимание, возможное между ними только без слов. Серый буквально не сводил с нее глаз. Жекки осязала его взгляд, как прикосно-

вание чего-то горячего и живительного. Она не могла на что-то решиться, пока ощущала его, как не могла бы поверить, что волк, стоящий напротив, способен одним рывком разорвать ее пополам, будто мелкого детеныша косули и что не он, а она рядом с ним совершенно беспомощна. Даже на долю мгновения Жекки не усомнилась, что Серый ей ничуть не опасен. Просто, в конце концов, поняла — сегодня она должна уступить ему. Точно так же, как уступила несколько лет назад, когда впервые встретилась с ним, и когда он попросту спас ее, испуганную маленькую девчонку, заблудившуюся в диком, страшном лесу.

Жекки до сих пор съеживалась, вспоминая, какой беспредельный ужас она испытала, когда поняла, что осталась совершенно одна в глухом незнакомом месте, отстав от компании деревенских ребят, с которыми отправилась в тот день за земляникой. Она увязалась с ними по своей прихоти и потому, что всегда предпочитала играть с простыми босоногими мальчишками. И те охотно принимали ее в свои игры, тем более что маленькая барышня ни в чем не желала им уступать. И вот мальчишки ушли далеко в каюшинские дебри, и Жекки, засидевшись на богатом ягодном месте, потеряла их из виду. А когда попробовала найти дорогу, незаметно для себя начала уходить все дальше, и дальше в безлюдную глухомань.

Когда же, наконец, поняла, что заблудилась, вокруг непроницаемой стеной вздымались вековые сосны и ели.

Огромные поваленные остовы упавших гигантов, покрытые мхом, лежали один на другом, и высокий, как скромный подлесок, папоротник скрывал ее почти с головой. Вокруг черная чаща, бурелом, ни души, ни звука, и никакой надежды услышать или увидеть кого-то сквозь надвинувшийся морок ужаса. Жестокий страх, внезапный как смерч, вывернул все ее существо наизнанку. Охваченная им, Жекки упала ничком в заросли папоротника и громко отчаянно разрыдалась. Ей совсем недавно исполнилось одиннадцать лет. Она играла в бабки с крестьянскими мальчишками, любила шоколадные конфеты и готовилась будущей зимой танцевать на своем первом гимназическом балу. И вот теперь должна была неминуемо умереть. Самая настоящая смерть смотрела на нее во все глаза, оскаливая бесчувственный черный зев.

Жекки рыдала, не в силах остановиться. Несколько раз в бессильном отчаянье она обрушивалась с кулаками на ни в чем неповинный мох. Шли бесконечные минуты, часы. Она не могла опомниться. Уже приблизились сумерки. Свет, проходивший между мохнатыми стволами деревьев, наполнился розовыми тонами. И какая же зловещая пропасть разверзлась перед ней в этом свете! Каким багровым пламенем озарил ее наступивший вскоре закат! Неизменность окружающего, черная глубина раскрывшейся бездны, подавляли все мысли, все чувства. Все, кроме быющего через край животного страха. Она попробовала идти, чтобы движением, усилием тела заглушить этот подавляющий страх, но он по-

беждал. Когда наступила ночь, она легла, сжавшись в жалкий комочек прямо на землю под разлапистой елью за кустами можжевельника, и приготовилась к тому, что, возможно, усталость все-таки одержит верх над страхом. Но, она почти не сомкнула глаз.

Только под самое утро, к ней, окончательно обессиленной, пришло милосердное забытие. Проснувшись она уже за полдень, когда лес во всю дышал и жил своей неповторимой жизнью. Но, очнувшись, она испытала сразу возвратившийся ужас. У нее страшно разболелась голова, желудок сдавливала сосущая боль, на которую она, впрочем, не обратила внимания, настолько голод был второстепенен по сравнению с ужасом, и только жажда еще кое-как отвлекала ее измученное сознание. Корзинку с земляникой она бросила в первые минуты страха, когда побежала сломя голову через чащу, надеясь догнать мальчишек, а ведь эти ягоды такгодились бы ей теперь. Жекки попробовала опять идти, сорвала несколько свежих стеблей какой-то травы и стала сосать их белые сочные предкоренья, но все равно хотелось пить. Палый зной, скрытый за неподвижными кронами деревьев, все же проникал сквозь них, достигая самого края бездны, над которой билась ее маленькая погибающая жизнь. Жара была не изнуряющей, но достаточно сильной для человека, лишенного воды. Жекки брела куда-то наобум. Кругом была все та же мрачная глушь без единого просветления. Страх уже не гнал ее, но прижимал к земле, заставляя падать лицом

в мох и плакать. Опять шли бесконечные минуты отчаянья. Ее рыдания становились беззвучными и все чаще прерывались глухим безнадежным сознанием тупика. Потом гремучей клокочущей волной накатывался перевозданный Великий Страх, и она снова задыхалась от неудержимого горя. Так продолжалось какое-то время, пока за ее спиной не слышалось чье-то дыхание.

Это было именно дыхание. В вязкой глухой тишине девственной чащи каждый звук отливался, словно из бронзы, и гремел, как колокол над снежной равниной. А может быть, так громко стучало ее сердце, что все иные звуки спешили его перекрыть, дабы быть услышанными? Ясно было только, что кто-то дышал рядом. Жекки открыла глаза и увидела склонившуюся над ней мохнатую голову. Как ни странно, она не испугалась. Обнюхав ее, зверь встал рядом и стоял так долго, пока она не поднялась на ноги. Жекки видела перед собой огромного, но, судя по всему, еще молодого поджарого волка, который почему-то не нападал на нее, но и не уходил прочь.

Она была поражена, изумлена, околдована и к тому же, раздавлена своим великим ужасом. Тогда-то она впервые увидела его настоящий, волчий, источающий бесстрашие, взгляд. А волк впервые позволил ей дотронуться до своей жесткой шерсти. Едва она сделала несколько шагов, как волк преградил ей дорогу. Она попробовала двинуться в противоположную сторону – волк сделал то же самое. Тогда в воз-

никшем между ними молчаливом угадывании друг друга, она поняла, что он какой-то особенный. Непривычное ощущение другого пробудилось одновременно с надеждой спастись. И эту надежду источало замершее вблизи светлое и грозное существо. Зверь всем своим видом будто подготавливал Жекки, будто давал время настроиться на новый спасительный лад. И когда спустя какое-то время он решительно направился в просвет между ближайшими елями, она, не раздумывая, последовала за ним.

Он вел маленькую двуногую одному ему ведомой дорогой. Жекки то бежала, то шла, изредка останавливаясь. Как только она переставала видеть мелькавшую впереди светлую спину проводника, он тотчас находился, и они продолжали путь. Сколько времени это длилось, Жекки не могла бы сказать с уверенностью. Она очнулась, только когда увидела открывшиеся из-за деревьев очертания знакомого выгона, мимо которого шла старая, размытая дождями, дорога. Не помнила она и того, куда исчез ее спаситель. Память сохранила лишь мамины всхлипы, радостные причитанья прислуги, слезы сестры Ляли, закипевший на веранде самовар, укутавшее ее с головы до ног фланелевое одеяло... Почему она сразу никому не рассказала про волка? Возможно, потому что все вокруг тогда представлялось слишком ненастоящим. Все вдруг стало каким-то другим, и она сама не могла бы с уверенностью сказать, что было с ней на самом деле, а что отзывалось лишь смутным повторением пережитого страха. Ну а

ПОТОМ...

III

Потом с наступлением темноты к ней стали подкрадываться «кружения» – «сны», как называла их Жекки, хотя их подлинный ужас состоял как раз в том, что снами в обычном смысле они не были. Чем они были, Жекки не знала, и никто другой не мог бы ей этого объяснить. Сначала ей казалось, будто их порождает ночная тьма. Будто слой за слоем густой мрак опутывает ее, вползая из-за опущенной занавески, и от этой беспросветной пелены ей становится так же страшно, как было в лесу, когда она заблудилась. Только к прежнему страху примешивалось еще что-то особенное, необъяснимое, ввергавшее в такой непереносимый ужас, что Жекки не могла откликнуться на него даже обычным плачем. Она просто сжималась в комок, охватывала голову руками, до боли стискивала глаза и так, слово бы пытаясь заклониться от чего-то безжалостного и неотступного, молча лежала, пока ее не находил кто-нибудь из домашних. На все расспросы и беспокойные замечания Жекки отвечала одно и то же: «мне страшно» и «я – это не я». Ничего более вразумительного от нее нельзя было добиться. Днем «кружения» не повторялись, зато сильно болела голова. Жекки ходила из угла в угол, не находя себе места. Она не могла ни сидеть, ни лежать, ни вообще что-либо делать. И, впадая в забытие, и выходя из него, хотела только одного – пить. Пить жадно,

много, сколько угодно, лишь бы избавиться от обуревавшей ее нестерпимой, нечеловеческой жажды.

Темнота стала ей ненавистна. В ее детской теперь с вечера до утра горела лампа, но это не спасало от наваждений. И постепенно, как сквозь все время обуревавшую ее дрему, Жекки начала прозревать – страшна не ночь сама по себе, и даже не порожденная ею тьма. Ужас рождала не темнота, а гулкая отзывчивая беспредельность, неразрывная с наступлением ночного покоя, и эта беспредельность дышала не в темной дали, укрытой за черными окнами, а внутри, в самой Жекки. Просто ночью беспредельность начинала звучать, и Жекки не могла унять ее голос – гулкий напор неизвестности. Стоило немного поддаться ему, как он немедленно подхватывал и уносил в необъятную, непереносимую тьму, вбирая ее в себя, точно крохотную песчинку, захваченную крутящимся черным вихрем-воронкой. Наступало кружение в бескрайности безысходного лабиринта, и тогда накатывал ужас, заглушая все вокруг, искажая пространство и время, выворачивая наизнанку крохотное, съжившееся в комок естество.

По ночам Жекки перестала спать, днем ее мучили головные боли. Она не знала, куда себя деть от изнеможения. Так продолжалось около двух недель, пока родители, наконец, не решились показать Жекки знаменитому московскому педиатру. В Москву отправились незамедлительно и прожили там около года: и в самом деле хороший детский док-

тор, осмотрев маленькой пациентку, назначил ей длительный курс лечения.

Для восемнадцатилетней Ляли тот год обернулся тоже весьма знаменательной переменой. Времени оказалось вполне довольно, чтобы как-то вдруг невзначай познакомиться со студентом медицинского факультета Коробейниковым. Стремительно влюбиться в него. Спонтанно и безалаберно увлечься его не совсем безобидными политическими идеями. Незамедлительно вступить в некий студенческий кружок, где можно было чуть ли не ежедневно встречать своего избранника. И, в конце концов, возбудив в нем ответное, пожалуй, еще более безрассудное чувство, без промедления выйти замуж, уже постфактум – в духе новейших учений о женской свободе, оповестив о венчании родителей.

Отец с матерью были настолько обескуражены ее замужеством, что даже спустя много лет все еще никак не могли с ним примириться. Брак одной из Ельчаниновых с «кухаркиным сыном» стал для них настоящим потрясением. Жекки помнила, как отец, растерянный и серьезный, сказал тогда, утешая маму, а возможно, и самого себя: «Что поделать, по всей видимости, в наши дни такие союзы неизбежны, как повальное увлечение марксизмом. Будем надеяться, что Коля (имелся в виду новоиспеченный муж Ляли), по крайней мере, не из тех шалопаев, за которыми гоняется охранка».

Увы, и эти скромные надежды не оправдались.

Неизвестно, что помогло Жекки: курс знаменитого вра-

ча, самоотверженная забота родных, течение времени, или все это вместе взятое, но страшные наваждения как-то незаметно притупились, стали затухать. Ельчаниновы вернулись в губернский Нижеславль, где Жекки училась в гимназии, и туда же меньше чем через год вынужденно переехали молодые супруги Коробейниковы: доктор Николай Степанович был выслан под гласный надзор полиции с запрещением проживания в обеих столицах. Вскоре он получил место в инской городской больнице и богатый, не по-уездному шумно и широко живущий Инск, на долгие годы сделался единственным пристанищем для его полуссыльного, со временем заметно умножившегося семейства.

Между тем, страх Жекки не мог исчезнуть, будто по мановению волшебной палочки. Темные наваждения продолжали существовать где-то в потемках ее души, время от времени возвращаясь оттуда, наваливаясь всей тяжестью пережитых мук. Несколько последующих лет, которые обычно называют самыми счастливыми, Жекки жила как приговоренная. Чувства уверенности, спокойствия, прочности и прелести бытия покинули ее безвозвратно. Каждая ночь, пока она жила в городе, могла принести повторение ужаса, и только на каникулах, летом, в имении отца Никольском, она обрела подобие прежнего детского счастья.

Как ни странно, кружащаяся безбрежная тьма никогда не тревожила ее в деревне, не смотря на то, что вся тамошняя обстановка должна была бы живо напоминать об испытан-

ном кошмаре. Но именно тогда, в летние беззаботные месяцы Жекки начала любить свою землю, свой лес, свои поля, как будто из них черпая столь желанное душевное равновесие. И именно тогда она вновь повстречала спасшего ее волка – Серого, как она стала его называть.

Теперь они часто находили друг друга, стоило Жекки выбраться в лес на прогулку. Ее родные, заметив, как благотворно для девочки пребывание на лоне природы, не только не противились ее лесным блужданиям, но всячески их поощряли, подыскав ей для вящего спокойствия в провожатые местного лесника Поликарпа.

Поликарп Матвеич когда-то служил под началом Жеккиного отца в армейской артиллерии, слыл человеком бывалым, знающим Каюшинский лес, что свой огород. С ним Жекки отвыкла бояться лесных дебрей, научилась различать голоса птиц, звериные следы, отыскивать лесные тропы и безошибочно находить дорогу домой из любой чащи. Почти тому же она подспудно училась у Серого, о чем Поликарп Матвеич был прекрасно осведомлен. Он тоже давно знал Серого, правда, его знание было каким-то иным, чем у Жекки. Она это чувствовала по томительной настороженности и какому-то непередаваемому напряжению в движениях и словах лесника, когда речь заходила о волке. Тут было что-то непонятное, что-то не имевшее для Жекки решения, и она, в общем-то, не особенно стремилась его найти. Самым важным для нее было не дрожать от наступления сумерек и чув-

ствовать неизменную прочность мироздания, ограничившуюся почему-то лишь небольшим отрезком земли в несколько сот квадратных десятин вокруг Никольского. На остальные земные пространства правильные законы мироздания, видимо, не распространялись.

Когда лето заканчивалось, и нужно было переезжать в Нижеславль, чувство, неверности, призрачности окружающего возвращалось. Жекки знала, что черная бездна рядом, что она стережет где-то у самой кромки души, готовая в любую минуту завладеть ее сознанием. И тьма пробуждалась еще не однажды, превращая веселую пылкую, немного взбалмошную Жекки в жалкий комоч страдающей плоти. Правда, новые приступы были не так мучительны, как те, что изводили ее в первое время после «спасения», и все же они не давали ей ничего забыть, не давали избыть тягучую душевную пытку, ей, столь радостно когда-то мечтавшей о счастье.

Но счастье все же нашло ее как-то вдруг, ненароком. Было ли оно собственно тем самым, предвкушаемым, предназначенным ей или каким-то другим, Жекки точно не знала. Знала только, что первой же зимой после окончания гимназии, на первом, по-настоящему взрослом своем балу в Благородном собрании, она встретила некоего приезжего и влюбилась в него сразу, без памяти. Это был Аболешев.

В Нижеславле, как выяснилось, он оказался проездом из Петербурга и сразу, без приглашения, заявился на губернаторский пышный прием, благо его превосходительство, при-

ходил к нему какой-то не слишком дальней родней. Подчеркнутая сдержанность, немногословность, нездешность Аболевцева поразили Жекки в самое сердце. Он мгновенно приковывал к себе взгляды. Его чужеродность окружающему была безотчетна и вместе разительна. Незаурядная наружность: стройный брюнет, чуть выше среднего роста с гордой осанкой и непринужденно-мягкими манерами, изобличавшими отменную джентльменскую выучку – и особенно, тонкого бледного лица, лишь изредка оживлявшегося прохладным блеском внимательных глаз, имела в себе нечто болезненное, недосказанное.

Жекки хватило одного взгляда, чтобы по достоинству оценить столь редкое своеобразие, незамедлительно приняв в себя, как не с чем не сравнимую данность. А вот нижеславское общество, особенно дамы, далеко не сразу одобрили заезжего гордеца. Аболевцев избегал знакомств, держался спокойно и вызывающе. А когда пелена спала, было уже поздно: он танцевал два раза подряд с Жекки, после чего тотчас уехал. В зале шептались и переглядывались. Через неделю всем стало известно, что «господин Аболевцев сделал мадам-музель Ельчаниновой предложение руки и сердца».

Отец Жекки, человек старомодный, был доволен выбором дочери хотя бы потому, что фамилия предполагаемого зятя значилась в шестой части гербовника дворянских родов губернии и была столь почтенной и древней, что могла этими качествами компенсировать сразу два существенных изъя-

на — зыбкую тень от мезальянса старшей дочери и полнейшую материальную несостоятельность жениха. Жекки, разумеется, была далека от таких умонастроений. Павел Всеволодович занял ее сердце полнее, чем кто-либо до сих пор. Его склонность проявила себя, как и положено, прежде ее собственного признания. И все это, само собой, к всеобщему удовольствию, не могло иметь других последствий, кроме свадьбы. Они обвенчались, и после года совместных заграничных путешествий, вернулась в родной край, к своим заповедным местам.

Новая жизнь в милом ее сердцу Никольском, жизнь, наполненная бесконечными заботами и не совсем ровные отношения с красавцем-супругом, наконец, избавили Жекки от давней напасти. Старые кошмары перестали донимать ее. Она почувствовала себя вновь уверенной и здоровой, какой, впрочем, в глубине души считала себя всегда, вопреки тяжелым проявлениям пережитого ею несчастья. Что же до новых тревог, вызванных переменой в ее семейном и общественном положении, то они касались той стороны жизни, в которой было, как ей думалось, все поправимо, в отличие от многого такого, над чем человек совершенно не властен. Во всяком случае, до сих пор, все годы замужества, сколь бы ни удручали ее почти постоянные размолвки с Павлом Всеволодовичем, Жекки жила с чувством обретенной твердой почвы под ногами. Черное наваждение наконец-то само стало призраком.

– Ты не хочешь, – обратилась она к Серому, задорно поглядывая в устремленные на нее, горящие странным огнем, глаза. – Не хочешь уходить? Что ж, давай побудем здесь еще немного. Поликарп Матвеич добрый. Он извинит, если я слегка опоздаю.

Помогая себе ногами, Жекки сгребла густую охапку опавшей листвы и повалилась в нее, успев, как бы играя, бросить в сторону волка быстро рассыпавшийся лиственный ворох. Серый тотчас подбежал к ней, показывая, что тоже не прочь поиграть. И Жекки, смеясь, начала засыпать его шуршащими сухими листьями, а Серый то подставлял под них морду, то отпрыгивал в сторону, притворяясь напуганным. Красные, желтые, багровые листья в голубом воздухе, как будто в медленном танце плыли над ними, покачиваясь и опадая. Жекки следила за ними глазами, точно воображала, будто кружится в неведомом вальсе. Потом, устав, она распласталась на разноцветной перине. Серый улегся рядом. Жекки положила руку ему на загривок. И все было хорошо, даже слишком хорошо, как казалось. Но почему-то, глядя прямо в опрокинутую над ней лазурь, она выдохнула, сама того не желая: «Знаешь, Серенький, а ведь счастливее чем сейчас, я уже никогда не буду».

Ее рука, прижатая к волчьему загривку, почувствовала резкий отталкивающий рывок. Серый мгновенно приподнялся так, чтобы увидеть лицо двуногой, словно он не только понял, что она сказала, но и приготовился немедленно

возразить ей. Жекки этому не удивилась. Серый понимал ее как никто на свете. Теперь она это точно знала, как и то, что его понимание, его молчаливое присутствие будет необходимо ей, пока она жива. Жекки провела рукой по его большой голове, почесав немного за ухом. Пригладила шерсть, сбившуюся по бокам, и, обняв еще раз за шею, поцеловала во влажный нос. Затем нашла брошенный неподалеку хлыстик, отряхнулась и, забывшись на долю секунды, чересчур непреклонно позвала Серого за собой. Все же нужно было поторопиться к Матвеичу. Старый лесник не очень-то любил засиживаться дома, и Жекки боялась его не застать.

Однако, волк медлил. Жекки мысленно одернула себя. Прямые просьбы и тем более – приказы, никогда не действовали на Серого. За все десять с лишним лет их знакомства он так и не стал ручным. Бесполезно было понуждать его или намеренно обучать каким-нибудь трюкам. Серый был слишком умен, чтобы в угоду человеческим прихотям совершать какие-то бессмысленные комбинации движений, не представлявших по большому счету для него ни интереса, ни, тем более – мыслительной сложности. Он всегда сам решал, что и как ему делать. И Жекки понимала: любить этого волка она может только потому, что он такой – своенравный, чужой, свободный.

IV

– А, отступница, явилась, – с напускной ворчливостью поприветствовал ее Поликарп Матвеич, в то время, как Жекки на великолепном золотисто-гнедом жеребце въезжала во двор его лесной усадьбы. Дом, выстроенный много лет назад из огромных сосновых бревен, с высоким коньком тесовой крыши и широким двухступенчатым крыльцом под таким же навесом, обнесенный с четырех сторон забором из связанных крепких жердей, выглядел как добротное жилище какого-нибудь богатого крестьянина, живущего большой семьей на отдаленном отрубе.

Опытным глазом приметив Серого, оставшегося за воротами, Матвеич добавил, сразу посерьезнев:

– И зверя своего привела. Добро же. Ну, здравствуй.

Жекки тоже еще по дороге заметила волка, все-таки решившего проводить ее и, довольная этим, добралась до Поликарпа в самом приятном расположении духа.

– Здравствуйте, Поликарп Матвеич, – поздоровалась она в свою очередь. – И сколько вам повторять, что никакая я не отступница, никогда ею не была и не буду.

– Отступница, отступница. Ну, проходи в дом.

Всегда он насмешничает, а сам, пожалуй, все глаза проглядел, дожидаясь пока она соизволит явиться. Отступница... Смешно об этом вспоминать, но когда-то давным-дав-

но, Жекки с детской простой призналась своему наставнику, что хочет, как и Матвеич, жить в лесу и выйдет замуж непременно за такого же, как он лесовика. Матвеич, конечно, смеялся. Но реальное замужество воспитанницы принял с прохладцей. Выбора ее не одобрил и полушутя-полусерьезно стал упрекать в отступничестве от ею же данного обещания. Кое-какой резон в этих упреках все же имелся, потому как столичный сноб Аболешев, разумеется, нисколько не походил на «лесовика».

Жекки выпрыгнула из седла, передав поводья Матвеичу. Тот неторопливо, как и все, что он делал, привязал их каким-то замысловатым узлом к одной из жердин забора. Тем временем Жекки уже взбежала, стуча каблучками, по тяжелым ступенькам крыльца Поликарп Матвеич вошел следом за ней.

В доме было сумрачно и прохладно. От порога до большой русской печи, выбеленной известкой, тянулось несколько расшитых разноцветьем половиц. Над печкой довольно высоко под самым потолком темнели пучки сухих трав. Матвеич был в своем роде знахарем. Ведал полезные и губительные свойства растений. Готовил целебные настои. Пользовал и себя – у него с годами стало ломить поясницу и сводить суставы – и всех, кому приходила охота попросить его о помощи. Желающие находились, хотя обращались к нему с опаской. В сознании мужиков, он, как ни крути, был почти что колдун. Боялись и его таинственного искусства, и

осуждения отца Василия из Никольской церкви, да и ученый «дохтур» с «фельшером» из земской больницы всячески порицали горе-смельчаков, что шли со своими недугами не к ним, а в лесную усадьбу.

Сушеные травы распространяли по дому горьковато-пряный аромат, с детства знакомый Жекки. Вдохнув снова этот дурманивший травяной дух, она услышала, как всплыли в памяти, поднявшись, словно из глубокого колодца, как будто в сказочной дреме звучавшие когда-то, долгие и казавшиеся тоже какими-то сказочными рассказы. Далекие, как сон, голоса: «Ну, расскажи, Матвейч, миленький. Ну что это за травка? – Это-то? Душица. Вишь, кое-где розовые цветики остались. Хороша от мигреней и при простуде. – А эта? – Это, сударушка ты моя, полынь-травка. Горше ее не придумать. Лечит желудок, а ежели, например, компресс из нее, так – раны или ушибы. Вот, как у тебя на коленке. – Ну а эта, эта, что за трава такая, Матвейч? Неужели и она горькая? – Эта? И еще какая горькая. Рьяная. Не дай тебе Бог, ласточка моя, когда-нибудь попросить ее для себя. Называется она горицвет, а излечивает сердце...»

В красном углу, как положено, перед образом Спаса, потемневшем от неправдоподобной древности, светилась крохотная лампадка. Взглянув на нее, Жекки из приличия перекрестилась. Знала, что из всех ее недостатков, известных Матвейчу, отсутствие необходимой почтительности к боже-ству, он извинял менее чем охотно. Напротив двух неболь-

ших окон с ситцевыми занавесками, почти посреди комнаты, вздымался крепкий, как дом, как вообще все, что было в этом доме, дубовый стол с нехитрым, но сытным угощением.

На краю лавки, приставленной к окну, Жекки заметила смиренно расположившегося кота, чрезвычайно толстого, похожего на енота. Кот был донельзя ленив, флегматичен и любим Матвеичем. Жекки с трудом удержалась, чтоб тотчас не растормошить его. Но вовремя удержалась. Во-первых, кот, которому Матвеич, кажется, не удосужился дать никакого имени (для него кот был просто Котом, и Жекки воспринимала это, как высшее признание животного, воплотившего в себе лучшие свойства кошачьих), не любил, когда его не с того, не с сего начинали теребить и тискать. Он редко кому позволял с собой такие вольности. А во-вторых, Жекки вспомнила про предстоящий обстоятельный разговор и решила пока не отвлекаться на сентиментальные позывы. Опять-таки, Матвеич, как ни любил он своего Кота, в душе бы их не одобрил.

– Ну, что же, Евгения Павловна, вы застеснялись, – сказал он, переходя на мнимо церемонный тон, – прошу вас к столу. Откушайте моей стряпни, не побрезгуйте.

Жекки и не подумала бы брезговать стряпней Матвеича, тем более, что он умел изумительно вкусно готовить зеленые щи, окрошку, каши. Умел мариновать по-особенному огурцы, солить грибы, коптить рыбу и жарить дичь. Дичь, впрочем, Жекки не ела и не могла составить мнение об ее ка-

чествах. Но стоило вспомнить, на худой конец, знаменитую на весь околоток поликарповку, чтобы понять, как намеренно принижал старый хитрец свои кулинарные способности.

– Спасибо, Матвейч. Чувствую, что, как всегда, объемя твоими блинами.

Матвейч, явно польщенный, усмехнулся в бороду, усаживаясь напротив гостыи. На сей раз угощение состояло из свежей ухи, всевозможной закусок и гречишных блинов, жаренных с грибами и луком. Бутыль с поликарповкой старик выставил позднее. Выпить за здоровье хозяина было просто необходимо, и Жекки в промежутках между кушаньями не преминула опорожнить маленький стальной стаканчик, заботливо подставленный ей под правую руку.

– Что же вы не заехали к нам на прошлой неделе, Поликарп Матвейч? – спросила Жекки, цепляя вилкой ломтик малосольного огурца. – Я ждала вас. Думала, что-то случилось. Хотела даже Федыкина прислать, разведать все ли у вас благополучно, а потом недолго думая, решила, что лучше уж самой приехать.

– Вот и ладно, давно бы так. С тобой, сударыня я всегда рад лишним словом перемолвиться. А Федыкин ваш, прости господи, на что мне? И впредь прошу, приезжай сударушка, непременно сама, а никаких твоих гонцов мне не надобно.

– Что же у вас, Поликарп Матвейч, какие-то дела были в лесничестве?

– Как не быть. Были и дела. Потом вот на ярмарку третьего

дня пришлось съездить. Ведь нынче ярмарка большая под городом.

— Как же, я и сама собиралась, да без денег на ярмарке делать нечего. Разве что прицениться.

— И то, можно и прицениться. Хлебушек-то, к примеру, нынче — что твое золото, а может и подороже.

— Дороже или нет, а у меня уже почти не осталось, ни того, ни другого. Вот в чем беда, Матвеич.

Жекки знала, что не сообщает ничего нового. Матвеич не хуже нее представлял состояние дел Аболешевых. Знал, что летом выгорели все весенние посевы, а озимые рожь и ячмень дали такой скудный урожай, какого в Никольском не видывали лет пятнадцать. У соседей дела обстояли не лучше. Обиднее всего, что засуха обрушилась на них, когда, казалось бы, положение в сельских хозяйствах по всей губернии начало налаживаться. После двух голодных лет, которые пришлось на конец прошлого века, неурожай в их краях стали редки. Хозяйства исправных крестьян и заботливых помещиков начали подниматься. Хлебная торговля сделалась чрезвычайно выгодна, и если не приносила большого дохода, то и не оставляла с убытком. А были еще лен и масло, которые Жекки сбывала местным закупщикам, и которые приносили дополнительные рубли в ее тщательно просчитанный бюджет. Но в этом году лен, предназначавшийся для продажи на волокно, из-за засухи не вытянулся, поник и пошел боковыми ветками, так что его можно было пустить только

на семена, а это сотни рублей неполученного дохода. Удои молока из-за плохого корма коров – покосы и выгоны горели наравне со всей прочей растительностью – так же уменьшились одновременно с надеждами получить какую-либо прибыль от молочной торговли. Больше того, из-за ничтожных по сравнению с прошлыми годами запасов сена и соломы, приходилось задумываться о забое какой-то части коровьего стада. Жекки пока, как могла, тянула с роковым решением на счет жизни и смерти своих буренок, а вот соседи и, особенно мужики, почти во всех окрестных деревнях уже всю принялись истреблять крупную скотину.

Засуха и ее последствия стали повсеместно главной темой для разговоров. На городском базаре, в заседаниях земства, в клубе, на улице, в лавках и даже гостиных инских патрициев – везде говорили о печальном положении дел в уезде. О бедствиях, вызванных нескончаемым зноем, изо дня в день сообщала и самая популярная местная газета «Инский листок», издававшаяся за счет частных пожертвований двух либерально мыслящих купцов.

«ИНСКИЙ ЛИСТОК»

Засуха.

12/ IX. В Новоспасской волости крестьяне деревни Боровки на сходе постановили обратиться за кормовым вспомоществованием в земскую управу.

Положение крестьян в действительности отчаянное: зимних кормов для скотины заготовлено едва ли треть от необходимого. Большая часть поголовья крупного скота уже пущена под нож. Зимой ожидается падеж из-за недокорма. Что до положения с хлебом, то оно, как и всюду по уезду, близко к критическому.

14/ IX. Между крестьянами деревень Варюшино и Дятлово (Дмитровская волость) возобновился спор о принадлежности так называемого Дальнего луга. Местоположение в речной низменности способствовало тому, что трава на лугу пострадала от засухи гораздо меньше против других сенокосных угодий. Это и дало толчок к началу старых препирательств. Урожай нынешнего года достался дятловцам. Крестьяне Варюшина потребовали вернуть им все сено, скошенное на Дальнем лугу или заплатить за него выкуп. Получив отказ, они вынудили дятловских крестьян на кровопролитную драку. Уряднику Матвееву, прибывшему на место драки, остановить побоище не удалось. С множественными ушибами головы и переломами двух ребер он был доставлен в Дмитровскую волостную больницу. Среди крестьян один был убит, десятки ранены. Судебный следователь и полицейская команда во главе с приставом уже выясняют обстоятельства происшествия. Трое зачинщиков арестованы.

17/ IX. Статистическое отделение уездной управы подготовило сведения о вздорожании цен на съестные припасы, вызванное последствиями неурожая этого и

предыдущего года. Из указанных данных видно, что удорожание в уезде коснулось практически всех видов продовольствия. Ниже приводим некоторые наиболее заметные результаты. В первой колонке указаны цены 1911 г, предшествовавшего засухе. Во второй цены нынешнего года.

Пуд ржаной муки 1 руб. 90 коп. 2 руб. 35 коп.

Телятина (за фунт) 26 коп. 41 коп.

Молоко (за ведро) 1 руб. 23 коп. 2 руб. 04 коп.

Масло сливочное 49 коп. 73 коп.

Картофель (мера) 28 коп. 40 коп.

Овес 74 коп. 86 коп.

Сено 34 коп. 54 коп.

– Я свой хлеб уже почти весь продала, – сказала Жекки. – Теперь жалею, конечно, потому что он должен будет час от часу дорожать. Да, мне деньги нужны прямо теперь.

– Что ж, коли так, – поддержал Поликарп, – делать нечего. Стало быть, крепко вас, сударыня моя, прихватило. У вас же одних векселей непогашенных тыщ на пять, а то и поболее.

Жекки нахмурилась. Непогашенные векселя висели на ее плечах тяжелой обузой. Всего два года назад ценой невероятных ухищрений, стараний, каждодневного кропотливого труда в имении ей удалось собрать деньги для выкупа у банка закладной на Никольское. Однако спустя год, неурожай и случившийся тогда же крупный падеж скота, сокративший наполовину ее молочное стадо, заставили ее вновь заложить всю пахотную землю с прилегающими лесными участками.

Так что теперь, крупные долги по векселям и необходимость расплачиваться по банковскому займу представляли для нее не меньшую, чем когда-то, а напротив – еще более грозную опасность.

– Пять с половиной, – сказала Жекки, называя правильную сумму своего вексельного долга. – И, похоже, в этом году лучшее, что я смогу – это выплатить по ним проценты. – Она вздохнула. Вот именно, что в лучшем случае. Потому что кроме платежей по долгам необходимо было заплатить полторы тысячи в страховую контору, отремонтировать окончательно сгнившую крышу амбара, заменить конную молотилку, купить хотя бы пару новых плугов и одну сеялку, чтобы было с чем выйти в поле следующей весной. Наконец, нужно было рассчитаться сполна с работниками, надо было чем-то питаться, содержать себя с мужем и... о, как же хотелось... но сейчас это желание показалось ей почти несбыточным. Как же хотелось сшить себе новое вечернее платье, в котором она смогла бы показаться на именинном балу у инского предводителя. То самое, высмотренное в «Дамском журнале», то, о котором она мечтала, за которое, пожалуй, отказалась бы и от плугов, и от чертовой молотилки, но... Похоже, в этом году ей вряд ли посчастливится выбросить на ветер даже одну сотню рублей. Огромный долг Земельному банку маячил перед ней, как удушливое знойное марево, висевшее над полями все минувшее лето. Жекки ловила себя на ощущении, что не может забыть об этом

долге даже во сне.

– И еще пять нужно внести в банк, – прибавила она, стараясь не выдать волнения.

– Фью-ю, – присвистнул Матвеич. – Вместе выходит – поболее десяти. По нынешним временам деньжищи несметные.

– Ну, как тут быть, Поликарп Матвеич? – будто бы соглашаясь с ним и одновременно точно пытаясь воспротивиться чему-то, сказала Жекки, – Я кажется, на долги не напрашивалась. Что могла – отдавала сразу, и все равно... ничего не выходит. Вырученное за хлеб уже почти все разошлось. Да, и что там было-то. По сравнению с прошлыми годами – копейки. А самые большие долги остались непогашенными. Весь лен уйдет в счет аванса и процентов Ханыкову. За масло кое-что получу, но так мало, что и считать не стоит. В общем, нет у меня больше денег, Матвеич. Кончились, и что делать – не знаю.

– Беда, сударушка ты моя, беда. Давно вижу – не по тебе эта ноша, не для твоих плечей. Да и не для женского разума. А Пал-то Вселодыч ваш, как погляжу, и в ус не дует. Ему все, как с гуся вода. То в разъездах, то на фортепьянах бренчит.

«Ну, вот начинается», – с тоской подумала Жекки.

Ей совершенно не хотелось ни с кем, даже с добряком Матвеичем, обсуждать поведение Павла Всеволодовича. Ей и без того надоели соседские сплетни на счет полной хозяй-

ственной несостоятельности Аболешева. Еще не хватало выслушивать что-то похожее от самого близкого друга. Какими бы справедливыми ни были упреки Поликарпа Матвеича, Жекки не могла поддерживать беседу на эту тему, и отважно проглотив содержимое стального стаканчика, произнесла со всем возможным спокойствием:

– Да, он любит музыку, играет иногда. Мне даже нравится. Если хотите, музыка – его душевный магнит. Как кто-то сказал – то, на чем сосредоточена душа. И, знаете, по-моему, лучше, когда такой магнит есть, чем, когда его нет. Ведь, если вдуматься, им жизнь тянет нас за собой, влечет и держит. Нет притяжения – нет жизни. И хорошо, что такой магнит есть у Аболешева, у меня. И у вас тоже, Матвеич. У каждого свой, конечно. Вот вы любите лес. Вы не скажете, но я-то знаю, что вы без него жить не можете. Знаете его как никто и, наверное, с закрытыми глазами пройдете вдоль и поперек. Разве нет?

Матвеич, только что осушивший посудинку с настойкой, усмехнулся, огладил усы.

– А может, и пройду, да только баловство это. Не к чему. – Он опять усмехнулся, словно представив возможность подобного эксперимента. – Каюшинский лес, да и любой, как живая тварь, его понимать надо. Тогда он сам тебе откроется. Его и проверять и мерить на десятины не придется. Вымерено все уже, нового-то не приросло. А что знаю я его, так тут спору нет. И вы, сударыня моя, знаете, и для вас Каюшин-

ский край не чужой. Ведь знаете, как через большую дубраву на берег Калинкина ручья выйти? Знаете. Как дальние болота обойти? Опять вам известно. И как коростель кричит, и как тетерев на току квохчет, и как по рыхлой земле на кабана выйти. Да и чего, скажите, вам здесь не ведомо?

Жекки задумалась. В самом деле, кажется на сегодняшний день, она знает примерно то же, что и ее многомудрый учитель. А с другой стороны, она понимала, что подлинные знания даются лишь с опытом, зарабатываются собственными шишками. У Поликарпа Матвейча и опыта, и набитых им за долгую жизнь шишек, наберется побольше.

V

– А что, есть ли еще кто-нибудь у нас в уезде, кого бы вы, Поликарп Матвейч, в местные следопыты записали? Мне просто так любопытно. Земляки, соседи все-таки.

Жекки хитрила. На самом деле ей было все равно, есть ли подобные следопыты или нет. Точнее, она считала, что среди ее «милых соседей» таких людей быть не может. Просто сейчас ей очень хотелось перевести разговор с опасной темы «Аболешев» на любую другую. Пусть даже Матвейчу вздумалось бы размышлять вслух о силе земного тяготения. Ее устроило бы все что угодно, кроме разговоров о муже. Еще задумав свою военную хитрость, она предполагала, что предстоит непростая борьба с использованием всевозможных уловок и приятно удивилась, обнаружив, что Матвейч заглотил наживку с первой попытки.

– В уезде-то все так, одна шушера козявочная водится. Уж ты меня, ласточка, прости, коли сорвалось что лишнее с языка. Стар стал, невоздержан. В губернии, в Мшинском уезде, там был стоящий егерь, старый уже, Афанасий Савватеич, да рассказывают, помер в запрошлом годе. А из молодых... Молодо зелено, может еще из кого толк будет. Так что кроме нас с тобою лучше пока никого нету. Хвастайся, коли хочешь. Нако вот отведай. – Матвейч бережно скрутил несколько маслянистых блинов, лежавших сверху на блюде, и переложил

их на тарелку Жекки.

– Был, правда, еще один человек, – сказал он, помедлив, вытирая рушником замасленные пальцы, и по его лицу пробежала мгновенная тень.

– Забывать уже о нем стал, столько лет прошло. Да вот, съездил третьего дня на ярмарку, и показалось, что свиделся снова. Может, и примерещилось. А только и он посмотрел на меня издали этак внимательно, будто тоже припомнил что.

– Кто же он? – спросила Жекки. Ее любопытство мешалось с непонятым смятением. Она уже не жалела, что затеяла эту не вполне честную игру. Никогда раньше ей не приходилось видеть добрейшего Матвеича в таком волнении. Что-то темное меняло его прямо на глазах. Он слегка захмелел, взгляд его подернула туманная поволока, и видно было, что сдерживаемое два последних дня какое-то жестокое и щемящее чувство вот-вот готово выплеснуться наружу.

– Он-то?... Не говорил я тебе о нем прежде, не знаешь ты. Никому не говорил. – Жекки видела, как скрытые бородой скулы старика словно бы свела внезапная судорога. – Он был... Был, ну вроде как ты мне теперь. Ближе и быть не может. За сына его считал. Нет, ты не подумай. У меня родных деток Бог прибрал, еще, когда я с твоим папашей хивинского хана железными матюгами окучивал. Мальчишка этот был сыном князя Ратмирова и воспитательницы его старшего сынишки, мисс Грег. Незаконнорожденный, стало быть, ублюдок, бастард. От того и горд, и самолюбив был страшно. И

сызмальства не было в нем ни капельки... как бы сказать-то, жалости что ли, или тепла к человеку, вообще ни к кому. Ни страха Божьего, ни смирения. Так вот обделила судьба, потому как со страхом-то Божьим и благодать Божья открывается, а ему, видно, такой благодати не было положено от самого начала его.

Поликарп Матвеич тяжело вздохнул и заговорил с нарочитой размеренностью.

– Помню, один раз подрался он с братцем своим единокровным, жестоко, в кровь. А было-то им, пострелятам, одному от силы лет семь, другому самое большее – десять. Но, старший-то, само собой, и росточком повыше, и вообще, вроде как, дородней, а все одно, на вид как будто недужен. Доктора вокруг него вечно крутились целыми стаями. Княгиня выписывала их и из столиц, и будто, даже из-за границы. Консилиумы целые собирала, советовалась, как уберечь любимое чадо от всякой пустяшной болячки. Почем зря пичкала сына разными пилюлями, да микстурами, а чуть дождик закапает или ветерком свежим пахнет – погулять во двор уже не пускала. Вот и реши, какому тут быть здоровью?

Но и душой, надо сказать, был этот старшенький слаб, и завистлив, и ябедник страшный. Меньшого за родню свою не считал вовсе. Язвил его всячески, старался то подчинить, то принизить. Ну, а Голубок мой еще крохой прослыл за твердый орешек – не поддавался ни в какую. Бывало, и слезы уже сами текут от обиды, и силенок нет, чтобы ответить, а все ж

таки кулачки сжимает, что есть мочи, скалиться и зыркает злобно, ну, чисто зверенок. Старший-то и так, и этак к нему подступался. Изводил, дразнил, шпынял, где мог подножки ставил, а чуть что не по нему – бежал тотчас жаловаться к маменьке-княгине. Та всегда, ясное дело, брала сторону родного сынка, а князь обычно в эти детские дразги не входил. Предоставлял жене с ними разбираться. И та, понятное дело, разбиралась. Вот и доставалось моему Голубку частенько. Правда, князь все ж таки приглядывал за ним, в полную волю княгине не отдавал. Как-никак, меньшой сын. К старшему-то душа уже тогда у него не лежала, не знаю уж почему. А за Голубком смотрел, точно прикидывал в уме, что-то из него дальше выйдет.

То есть, как есть, были эти княжата ребятками шустрыми, но по-разному, одного с другим ни за что не перепутаешь. Так, когда я увидел их в тот раз на заднем дворе, ве-ришь ли, сударушка, аж все внутри у меня захолонуло от горечи, что такая свирепость возможна у малых дитяток. Сцепились они как борзые щенки в клубок. Катаются по пыли, мордочки у обоих злющие, оскаленные, в ссадинах. У моего-то Голубка уже и кровь из губы за воротник хлещет, и рубашонка до пупа порвана, а все одно ножонками так и норovit пнуть братца своего побольнее. Руки-то у обоих заняты были друг дружку держать. Я их, было, хотел расцепить. Да где там. Не дались сразу. Потом-таки растащил, так мой Голубок в другого, в княжонка-то законного, пока я его за ру-

ку отволакивал, камнем с разбега запустил. Прямо в голову. Как еще не убил, не знаю. Он ведь великий мастер был камнями по мишеням швырять. Лично сам не однажды видел, как у заросшего пруда в парке метал и по лягушкам, и по уткам. А уж сколько он жуков, гусениц и прочей насекомой мелюзги передавил в своих забавах и считать не приходится.

Стало быть, изволишь видеть, и Голубок мой хоть куда выдался мальчонка. Княжонкина нянька кроме как «оторвой проклятушей» его за глаза и не называла. Княгиня грозила в сиротский приют отдать. Князь не однажды приказывал оставлять в темной за проказы, и только родная мать, гувернантка, ласкала и баловала его, сколько могла. И его точно подменяли, когда он оставался при ней.

Раз, помню, проходил я через коридор в задней половине дома, и вижу – дверь в комнате мисс Грег приоткрыта, слышно на фортепьяно кто-то играет. Заглянул я, чего уж скрывать, хоть и не водился за мной сроду такой грех, чтоб за кем подсматривать да подслушивать. Ну, тут не удержался, подглядел. На фортепьяно-то, мисс Грег играла, больше и некому было. Одна она на весь дом была страстная музыкантша, а играла все больше этюды какие-то, да ноктюрны. Печальные, что слезу вышибают. Но я-то на эти бабские штуки не больно падок. Мне все эти томленья, что для коняги хромого хлыст – не пронимают они меня обычно. А тогда, помню, встал и заслушался, до того жалостное она что-то играла. И

мальчонка ее тут же на коленях ее, с нею же за инструментом сидел. Обхватил ее этак ручонками за шею, грустный такой, мечтательный, а глазенки-то расплылись в пол личика, до того огромными стали от слез. Вот значит, для одной только мисс Грег он и был ненаглядным сокровищем, одна она могла на него управу найти.

Сам я тогда только что вышел в отставку и нанялся управляющим к князю. Мечтал еще в ту пору своим домом обзавестись, накопить денег на княжеской службе, купить какое-никакое, пусть хошь самое захудалое именишко, да и осесть на своей земле. Ничего, конечно, из мечтаний тех не исполнилось. Все только дым, один только дым и воздыхание.

Тут Матвеич как-то рассеянно посмотрел на Жекки мутными, невидящими глазами. Кряхтя, заворочался на своем месте. Жекки догадалась, что он ищет в карманах кисет. Достав его и, не спеша, набив коротенькую походную трубочку табаком, он обошел стол, ковыляя на больных ногах. Вытянув из-за печной заслонки тлеющий пруттик, прикурил от него. Комната наполнилась горьким дымом. Матвеич с удовольствием затаился. Лицо его несколько обмякло, и он продолжил уже почти обычным своим хриловатым голосом. Жекки его не перебивала.

– Мне тоже отчего-то было все время жаль этого мальчишку, только я виду не подавал. То есть поступал умно, не так как другие. Случается же, что вот ведь и видишь, и зна-

ешь, каков фрукт, гнилой или ядовитый, а все равно рука сама к нему тянется. Так и у меня с этим негодником. Бежит, бывало, куда-то вприпрыжку через двор или по аллее в саду, поймаешь его за руку, да и сунешь в нее пряник там или конфету. Сначала даже не брал, хотя и сластена был страстный. А оттого, что гордец, шотландец, вишь ты, наполовину. Потом ничего, привык, понял, что я худого ему ничего не сделаю, но жалости к себе все одно не выносил ни от кого, и как только кто-нибудь напоминал ему хоть чем-то о его положении в доме, положении второразрядного сынка, впадал в ярость, прямо как львенок. Ну а ко мне привязался видно оттого, что чувствовал, что я смотрю на него как на ровню, ничем превосходства или заискивания не выказываю. Это он больше всего ценил.

И стали мы вместе с ним бродить по окрестностям усадьбы. А места там, смею уверить, какие мало еще где сыскать можно по красоте. Сначала уходили не далеко и не на долго, потом – дальше, и дальше. Я ему, понятно, про войну с Хивой, набегі текинцев, про крепость их Денгиль-Тепе рассказывал, про нашу батарею, про разные занятные истории, которые со мной и моими товарищами тогда приключались. Много ведь было всякого и вправду занимательного. Взрослому порасскажи, и то заслушается. А мальчишке и вовсе любопытно. Глазенки, помню, у него так и закипали смолой – черноглазый он уродился, точно турчонок, а не шотландец вовсе. Ну, по породе и наружности, это он в папеньку пошел.

Фамилия их хоть и велась, кажется, от древних варяжских князей, но крепко-таки набралась ордынских примесей.

В общем, ходили мы с ним этак, бродили, гуляли. Очень похоже это на наши с тобой, сударушка, прогулки, верно? Да и ты схожа с ним. Вот сейчас только подумал, до чего схожа. Трудно это в словах выразить. Тут дело ведь не во внешнем. Но да тебе по должности твоей женской положено быть добрее, податливей. И говорить нечего. В этом он другой. Но не об том речь. Стало быть, занятный он был еще маленьким, а подрастать стал – и подавно. И привязался я к нему, как к родному. Души в нем не чаял. Полюбил одним словом, вопреки тому, что видел дурного и даже отвратительного в нем. Он же, мне думалось, тоже привязался ко мне всем сердцем и считал себе вместо отца.

Только не все так просто оказалось, и пошло все совсем не так, как думалось вначале. Вскоре я взял расчет у князя и поступил егерем в казенное лесничество, что было там же неподалеку от княжеского имения. И Голубка своего не забыл. Зазвал его к себе погостить в новом доме.

Он к тому времени уже учился в Петербурге, а маменька его в губернском городе отдельно на своей квартире жила. Князь ее обеспечил и о сыне готов был заботиться. Формально, то есть, как положено по закону, признал его, дал свою фамилию, титул, и готов был выделить часть наследства. Стало быть, почуял-таки в нем свою породу. И, ох, неспроста почуял. Ну, а княгине, да и старшему сынку это,

конечно, не по нраву пришлось. Что поделывать, дела, семейные.

В общем, приезжал мой Голубок на каникулы и чуть ли не все целиком проводил их не с маменькой, а у меня в лесничестве. Вот уж я скажу тебе, сударушка, когда я с ним набродился вволю. Научил всему, что сам знал, что умел, что, думал, и ему может когда-нибудь пригодится. И до Каюшинского леса уже тогда мы с ним добирались. Он эти наши губернские дебри вместе со мной изучал тогда во всех тонкостях. И на охоту его с собой брал. Научил стрелять. И скажу тебе, что за отменный стрелок из него получился. Я на своем веку всяких ведь разных повидал, и пока в военной службе был, и после – среди охотников, да и сам, чего уж там, не из последних считался по этой части. А только, мальчишке моему я в этом деле и в подметки бы не годился. Из револьвера он в гривенник с полусотни шагов попадал.

Или еще так забавлялся. Он же страстный охотник был до сластей, и я не скупился для него на гостинцы. Покупал и конфет разных, и пряников. Так он, бывало, даром лакомиться ими противился, а просил, чтоб я развешивал их в ряд по несколько штук за веревочки, сам отступал с револьвером ну и... По его правилу пуля должна была перебить акурат веревку, а когда сбивала саму конфету, то этот трофей не засчитывался. Это он строго соблюдал, без всякого к себе снисхождения. И вот, поди ж ты, так наострился, что стал попадать только по веревкам. А это смею уверить, о-го-

го что такое. И смел был отчаянно, и с таким даже почти презрением. Мне, мол, ваши опасности, как бирюльки. Рисовался, конечно, но на любого зверя ходил: кабана, рысь, волка. Понимаешь, мальчишка-то...

Жекки побоялась перебить Матвеича, который и так был словно бы не в себе, иначе она обязательно напомнила бы ему, что не желает слушать ничего об охоте, как о самом бесстыдном и безжалостном надругательстве над жизнью. Хотелось бы ей возразить кое-что и по поводу личности «голубка». Нарисованный портрет представлял собой, как ей думалось, вполне законченное изображение подрастающего изверга. Отчего намерение Матвеича и дальше терзать себя, да и ее, подробностями его взросления представлялось мало понятным. Не говоря о том, что вряд ли стоило приписывать себе в качестве заслуги намерение обучать стрельбе первых подвернувшихся под руку драчливых и бездушных мальчишек.

Но Жекки не перебивала старого ворчуна и не только из простой вежливости. Она опасалась, что своим резким замечанием прервет, или, пожалуй, даже разрушит тот странный поток душевного смятения, в который с головой окунулся ее добрый друг, и тем самым ранит его глубоко, неоправимо. А Матвеич, глядя в какое-то ему одному видимое пространство, по-прежнему вел свой рассказ, нисколько не беспокоясь о впечатлении, которое тот производил на долгожданную слушательницу. Казалось, снедаемый жгучей внут-

ренной болью, он был всецело захвачен ей, и хотел только одного – воспользоваться случаем и вырвать из себя саднящую невидимую занозу.

– Да, нравилась ему очень эта лесная жизнь, даже простой труд был в радость. Он и дрова рубил, и воду таскал, и сено сгружал с возов, когда мы с ним в сенокос вместе работали. Развился он, возмужал не по возрасту. И вот, сразу после того лета, что мы провели с ним почитай что вдвоем друг с другом, посыпались на их княжеское племя несчастья одно за другим. Начало положил, понятное дело, он – Голубок.

Осенью, по возвращении в корпус, побился он смертным боем – по- другому-то не умел – все с тем же своим заклятым противником – старшим братцем. Князек к тому времени уже ходил в выпускных камер-пажах, без пяти минут офицер. Вроде бы как, вовсе не ровня меньшому, а вот, поди ж ты, Голубок так изувечил братцу лицо, что тот разом ослеп. Из-за чего они там схватились, толком никто не дознался, потому, как оба при расспросах, будто воды в рот набрали – молчок, и все тут. Голубка моего чуть не упекли в тюрьму для малолетних, да папенька и папенькины друзья в Петербурге за него заступились. Но из корпуса, конечно, отчислили с волчьим билетом. Про Конную гвардию, золотые эполеты, и прочие красивые мечтания, пришлось забыть. Папенька не мог ему этого простить. Такой удар для чести рода, такой позор для семьи. Не мог он этого простить и отказал им с матерью и в наследстве, и во всяком содержании. Оставил

их на произвол судьбы.

А я уже говорил, что мальчишка этот был горд безмерно. Обид не от кого не терпел и помнил своих обидчиков всегда, ничего никому сроду прощать не умел. И получив отлучение от отца, сам от него будто отрекся. Ни слова больше ему не сказал, и ни о чем просить не стал. Раз и навсегда отрезал. Ну а дальше пошло-поехало. На старого князя вскоре, словно в отместку, беды повалились одна за другой.

Княгиня так истово убивалась по ослепшему сынку, что слегла в нервной горячке, а едва оправилась, крепко поссорилась с князем. Разругались они в пух и прах. Княгиня, понятно, язвила супруга в своем духе. Вот, дескать, кого ты на свою голову прикормил, бандита-бастарда, да еще почем зря вступался за него. По твоей вине, дескать, родная кровиночка теперь калека, а она сама едва жива от горя. Ну и тут, само собой, слезы, истерики. Изувеченный молодой князек стоял горой за маменьку, а когда у той с князем дошло уже до последнего предела, объявил, что не желает иметь ничего общего с отцом-злодеем.

Князь ничего, не противился. У него от капитала в ту пору остались уже одни только бессчетные долги, а сынок-то, видно, не будь глуп, смекнул, что брать на себя княжеское имя нет никакого резону, и ухватился за случай, чтобы поскорее отвязаться. И знал ведь, этакая шельма, что маменькин наследный миллион уже сам в руки плывет – княгиня тогда как раз получила по завещанию от дальнего родствен-

ника преогромное, сказывают, богатство.

Ну, князь, повторяю, особенно не перечил. Взял да и составил новую отказную. Имущество вместе с долгами переписал в казну, а единственным наследником древнего имени, вопреки обиде, пожелал назначить одного только Голубка, младшего сына, будто старший вовсе и не его, а не знамо чей. Скандал, конечно, разразился страшный. Да только князю, уж видно, все равно стало. До того чувствительно задели его княгиня с сыночком, что ему одного только нужно было – воздать им сторицей. Ну, закон княжеской воле перечить не стал, утвердил все, как тот расписал в бумагах, а стало быть, и нам в особенное рассуждение тут входить незачем.

Расстриженный князек, то есть на то время уже и не князек вовсе, а маменькин сын вместе с отставленной княгиней, укатил за границу. И там они вдвоем принялись усердно проживать свалившееся на них нечаянное наследство. Княгиня, видно, очень уж рассчитывала на заграничных медиков, их чудодейственное искусство. Думала, что они сына от слепоты спасут, ну а когда стали эти надежды в прах рассыпаться, опять слегла в горячке. После уже не вставала, так на чужбине и отдала Богу душу. Сынок ее, слышно, помыкался там по лечебницам еще какое-то время, да и пропал безвестно. Я, по крайней мере, об нем больше с тех пор ничего не слышал. Старый же князь, пребывая в любезном отечестве, начал спиваться помаленьку.

На ту пору Голубок мой, понятное дело, ничего этого не

знал, и жил с матерью в губернском городе, перебиваясь, чем Бог пошлет. Мисс Грег снова взялась давать уроки, он тоже сначала пробовал в том же духе, но скоро бросил. Я хотел, было, им помочь, дать денег, да только испортил все. Он денег не взял, воспринял, как подаяние, сказал, что знать меня не желает. Так мы с ним поссорились первый раз. Правда, как-то скоро помирились. Он сам приехал ко мне уже после ссоры, вот в эту самую усадьбу, где мы с тобой сейчас разговариваем, потому как я перевелся тогда в Каюшинское лесничество, и он навестил меня здесь, чтобы проститься. Ему минуло в ту пору девятнадцать лет, и вышел из него молодец хоть куда. Статный, сильный, кровь с молоком. Девкам на загляденье. Но я-то, стреляный воробей, уже догадывался, на какую скользкую дорожку он вышел. Такую дорожку, что уводит молодцев вроде него напрямиком на каторгу.

Пока он жил в губернском городе, то нуждался в деньгах, искал возможности заработать много и сразу. Оттого и связался там с первыми попавшимися негодьями, с аферистами и карточными игроками самой скверной выделки. Чуть не с уголовными. И стал зарабатывать игрой. Мать тоже, кажется, знала об этом, пыталась отвлечь его от них, да все без толку. Ничего нельзя было поделать. Легкие деньги соблазнительны, а он был малый бедовый, не из пугливых.

Приехал он тогда ко мне, уже отравленный всей этой жизнью, которую вел там, в этом разбойном кругу. Игра, надо полагать, не вполне честная. Связь с каким-то мошенника-

ми, которые надували обманными сделками купцов и заводчиков, выуживая у них капиталы. Кутежи в той же компании на речных пароходах и за городом в самых грязных кабаках, непотребные девицы... Одним словом, не твоим ушам, сударушка моя, все это слышать. И когда он приехал ко мне, чтобы проститься, я даже обрадовался. Подумал, что, вот мол, за ум взялся, хочет уехать подальше, чтоб отвязаться от некудышных своих друзей. Да только, я ошибся. Оказалось, — я это уже после узнал, — вздумал он всего-то навсегда удрать от сыскной полиции, но не тут-то было. Сцапали его, как миленького, да и упекли в кутузку. Искали, будто, веские улики, но не нашли. А как только он оттуда вышел, так и пропал безвестно, не ведомо куда. Знать, не сладко пришлось за решеткой-то. Он же как-никак барчук, белая кость. Знамо, не сладко. Ушел в общем, как у них, у этой публики говорят, в бега.

Я, помню, все ждал, что хоть письмишко какое мне придет, ну хоть два словечка в записочке. Мне ведь только и надо было знать, что он жив, здоров, да не забыл меня. Но ни словечка ни единого от него так и не получил. Сердце о нем все изболелось, ну как о родном. Думал, мать его что-нибудь знает. Поехал к ней на квартиру, в город. Открыла мне баба-прислуга, и сказала удивленно так, что госпожа Грег, де, померла два месяца как, а квартира теперь сдана новым жильцам. Я чуть не расплакался, будто малое дитя, прямо там, в передней. Понял, что последняя ниточка, связавшая

нас, оборвалась...

VI

Матвейич пыхнул трубкой и посмотрел опустевшими глазами на лиловую пелену табачного дыма, неподвижно зависшую на уровне его глаз. Взглянув на него, Жекки вдруг впервые увидела, до чего же стар ее Поликарп. Какие глубокие морщины рассекают его высокий лоб, расходятся от переносицы, ползут по смуглым щекам, путаясь в поредевшей, совсем седой бороде.

— Так вот оно вышло, — продолжил он словно через силу, с трудом подыскивая слова, которые и без того не сразу пробивались сквозь тяжелые сплетения чувств, обретая, видимо, не вполне точное соответствие тому, что старый лесник пытался, но не мог выразить. — Однако ж увидеться с ним мне довелось-таки спустя примерно четыре года. Всякую надежду на его счет я к тому времени уже потерял. Думал, пропал мой Голубок весь как был, с потрохами. Жизнь-то она во какая, не охватишь, а человек в ней один, точно песчинка в океане. И крутит она им, и вертит, как вздумается, и что с той песчинкой бывает, когда она поперек океана возмущается всякий дурак скажет — ровным счетом ничего. А Голубку моему, видно уж так на роду было написано — всюду поперек встречать. Потому что сизмальства не умел он никому подчиняться, и ничьей воли поперек своей не признавал. Вот и думал я, что пропал он, то есть не в том смысле, что нет его

уже на свете. А в том, что погубил он навек и жизнь свою, и душу. Разменял на всякую паскудную дрянь, и все стоящее проиграл и убил в себе. Не надеялся я уже ни на что. И ведь как в воду глядел.

Матвейч еще раз пыхнул своей носогрейкой, отогнал рукой неподвижно зависшую перед глазами дымную паутину. Жекки заметила его большие натруженные пальцы с пожелтевшими обломанными ногтями, непроизвольно в волнении сжимавшие штанину на левом колене. Глаза старика были обращены все в ту же ушедшую даль.

— Раз как-то осенью пришлось мне отдать последний долг старому товарищу по службе в Туркестане, Селищеву. Ездил я на его похороны в Саратовскую губернию, в тамошний маленький городишко, а обратно домой поплыл из Саратова пароходом по Волге. Погода стояла холодная, пасмурная. Зарядили дожди, и пароходное сообщение скоро должно было прекратиться. Мой пароход был одним из последних. Народу на рейс собралось порядочно. Все спешили воспользоваться последней оказией.

Я ехал во втором классе, и, не смотря на скверную погоду, вечером перед сном выходил на верхнюю палубу прогуляться. В тот вечер я как обычно проделал свой моцион. Посмотрел, как за бортом разбегается от колеса белая пена, как перекачиваются серые волны, прислушался к крикам чаек. Мельком отметил прогуливающих тут же других пассажиров. Я уже со всеми перезнакомился, чтобы соблюсти поло-

женные приличия общежития. Не более. И на душе у меня, сказать по правде, было невесело. Да и то, какое уж веселье после похорон.

И вот собрался я, было уже идти к себе в каюту, потому что стал накрапывать дождик, и потянуло довольно свежим ветром, как из люка, ведущего на палубу, один за другим поднялись несколько господ приличного вида. Они как-то сгрудились вместе, перемешались, стали шумно что-то говорить и смеяться. Было похоже, что кое-кто из них сильно навеселе. А так как раньше я не видел никого из этой честной компании, то догадался, что они сели недавно во время последней остановки, и, скорее всего, едут первым классом — только там оставались свободные каюты. Они продолжали шуметь, но я не прислушивался, собирался спуститься к себе. Другие пассажиры из старожилов тоже не сильно обрадовались такому неожиданному соседству, и торопились разойтись. Господа из первого класса тоже что-то там себе решили и стали продвигаться к выходному люку.

Как вдруг, один из спускавшихся по трапу, высунул голову наверх и позвал своего приятеля, который все еще стоял у борта. От этого возгласа у меня, веришь ли, сударушка, ноги так сами собой подкосились. Я едва не упал. Ведь он назвал имя моего Голубка. Я уже не мог двинуться с места и смотрел издали во все глаза на того, стоявшего у борта. Он никуда не спешил. Приятели его засмеялись чему-то и стали спускаться вниз, бросив его стоять в одиночестве. Прочие

пассажиры тоже скоро ушли.

Мы остались с ним вдвоем на палубе. При таких обстоятельствах, человек поневоле обращает внимание на другого. И он отметил мое присутствие, посмотрел пристально и сразу узнал. Я понял это по взгляду. И сам, не ожидая, что он меня окликнет, как одержимый первым рванулся к нему со всех ног. Но объятья получились принужденные. Он как-то поспешно отстранился. Я смотрел и не верил своим глазам.

Передо мною был мой Голубок, но каким же он стал... Господи, Боже мой, каким он стал... Это был молодой князь Ратмиров, а не беглый каторжник, каким я ожидал его встретить. Он был дорого одет, по моде, хоть я в этом плохо разбираюсь. Темно-серое пальто было расстегнуто, шелковый шарф выбился из-под воротника и развевался ветром. На левом мизинце блестело кольцо с черным камнем. Он докуривал дорогую тонкую сигару, стряхивая пепел в забортную воду. Мысли у меня смешались. Я не знал ни о чем спросить, ни что ответить. Словом, стушевался, как последний болван, потому как увидел совсем чужого мне человека. Ну, о чем, скажи, было мне с ним толковать? Но и расстаться вот так, шутя, я с ним не мог. Не мог отпустить, не расспросив толком, не узнав, что и как. А он напротив, отвечал коротко, неохотно.

Первым делом я, само собой, спросил, где он пропадал столько времени. «Был в Америке, в Европе, в разных местах», – отвечал он. «Откуда же вы теперь?» И я, и он все-

гда только на «вы» друг друга величали. Всякую фамильярность он в мои времена принимал в штыки. Так и осталось. «Из Персии», – говорит. «Чем же вы нынче занимаетесь?» – «Прожигаю жизнь, Поликарп Матвеич, вам лучше не знать этого». – «Где же, – говорю, – вы живете постоянно, ведь у вашего отца остался дом? Имение еще, кажется, не распродано». – «Меня это не интересует». – «Может, спустимся в ресторан, разопьем бутылочку. Здесь очень приличная еда мадера». – «Я знаю, – говорит, – меня там уже ждут». – «Спустимся вместе?» – «Как хотите». Было ясно, что ему не хочется продолжать разговор, но я ничего не мог с собою поделать и увязался за ним.

В ресторане первого класса вся его компания была в сборе. Еще несколько солидных господ – кое-кто с дамами – сидели за столиками. Он так же неохотно, сквозь зубы, меня представил. Компания меня приняла, но оставила без особого внимания. У них шел между собой какой-то свой, особый разговор, из которого я, как ни старался, ничего не понял. Они говорили на каком-то птичьем языке, такими словами, каких я отроду не слыхал. Понял только, что речь шла об акциях, банковских процентах, биржевой игре и ценах на американский хлопок в Лондоне. Голубок изредка вставлял замечания, но горячего участия не принимал. Видимо, в этот день он был не в духе. Все много пили. Закуски за их столом были самые дорогие. Я тоже немало выпил, разгорячился и вместе с тем чувствовал, что начиню раздражаться поведе-

нием своего... в общем, старого знакомого.

Он почти не смотрел на меня. Часто отворачивался. И тут один его собутыльник, с лицом как у мартышки, прервал их тарабарщину и предложил разыграть партию в макао. Общество его поддержало. Я быстро хмелел, нервы разыгрались, и я тоже, не помню как, сам предложил свое участие в игре. Голубок, глядя на меня, ядовито так ухмыльнулся. Мы попросили убрать для нас столы, принести карты и начали играть. Составились партии за двумя столами. Даже и захмелев, я скоро понял, с кем привел меня Бог связаться, да было поздно. Эта была целая шайка карточных мошенников или что-то такое, вроде как шулерская артель. Я это понял потому, что мне приходилось же играть, но никогда не приходилось иметь дело с игрою, в которой все нечисто, и один мошенник покрывает другого. Эх, сударушка, тут в двух словах не объяснишь, как я это узнал. Почувствовал. И точка.

Сидел я в партии с Голубком. Случайно или нарочно у него это получилось, не знаю. Он сдавал карты. Я проигрывал раз за разом. Проиграл все до копейки. А главное, ведь понимал, дурак такой, что меня обманывают.

Пробовал было одного подловить на мошеннической увертке, да ничего не вышло. Мне же указали на то, что я неверно играю. Раздраженный всем этим дальше некуда, и Голубком, и нашей с ним встречей, своим проигрышем, его приятелями, их непонятными разговорами, его... Да, всем, что увидел. Не вытерпел, встал этак из-за стола, да и сказал

прямо, глядя ему в глаза. «Вы, — говорю, — милостивый государь, были когда-то дрянным мальчишкой, а теперь доросли до отъявленного негодяя». Все, кто это слышал, притихли, опустили глаза. Он слегка изменился в лице, тоже встал, не спеша, подошел ко мне, и этак почтительно приобняв за плечо, преспокойно спросил: «Не надобно ли вам денег, Поликарп Матвеич? Я готов одолжить». Сказал и засмеялся. У меня от этих его слов точно сердце оборвалось, точно он его каленым прутом проткнул. Меня зашатало, я зацепился там за что-то, и кое-как вышел.

Рано утром меня растолкал человек. Пароход причаливал к моей станции. Я сошел на пристань, как лунатик. Тело несло меня, а меня самого точно не было. Точно что-то надорвалось... не знаю. Словом, вот так я и расстался со своим Голубком, Грегом, как все его называли...

Жекки взяла тяжелую загрубевшую руку Матвеича и прижалась к ней щекой. Утешающие слова не шли к ней. Она растерянно смотрела на поникшую седую голову Поликарпа, слышала, как тяжело с прерывистым хрипом доносится из груди его дыхание, и не могла произнести ни слова. Сердцем она сочувствовала ему, но при всей симпатии, не могла понять. У нее никак не укладывалось в голове сама возможность такой безотчетной отцовской любви к чужому мальчишке, чьи гадкие наклонности с самого начала не обещали ничего хорошего.

К ее облегчению Матвеич сам, не дожидаясь вопросов,

перервал затянувшееся молчание.

– Если бы не ты, сударушка, то и не знаю, как бы я тогда... совладал... Кабы не пришлось с тобой нянчиться, да уму-разуму учить, то и не знаю, ей Богу.

– Полно, Поликарп Матвеич, что вы в самом деле. Расстались вы со своим Голубком, и прекрасно. И не о чем тут жалеть. Что было, то прошло. Не вы ли совсем недавно признались, что стали забывать о нем, вот и надо было забыть совсем. Взять и забыть.

– Оно бы и так, – согласился Матвеич, – да дернул меня черт поехать на эту ярмарку...

– Но почему вы решили, что видели именно его? Расскажите, что делать такому человеку в нашем захолустье?

– Не знаю, сударушка. Близорук я стал, вдаль, по правде сказать, вижу туманно, а только сердце говорит, что он это. Он, понимаешь. Может, в родные края его потянуло, может дела какие по отцовскому имению, что ушло в казну по залогу, а может, и еще что, мало ли?

– Ну и довольно о нем, – нахмурилась Жекки. – Голубок это или нет, вы напрасно себя изводите, Поликарп Матвеич, честное слово. Вам нельзя волноваться. Кстати, вот все хотела отдать, и чуть не забыла. Гостинец от шурина моего. – Жекки вытащила из дорожной сумки небольшую стеклянную баночку, наполненную вязкой желтоватой массой. – Ваше лекарство от ревматизма. Николай Степанович сказал – очень хорошая мазь. Втирайте ее в поясницу перед сном

на ночь и поверх обматывайте шерстяным платком. Сделайте милость, попробуйте непременно. Николай Степанович, уверил, что через неделю должно полегчать.

Матвеич принял баночку осторожно, как будто прикидывая ее на вес. Недоверие к научной медицине в лице доктора Коробейникова боролось в нем с чувством благодарности. Благодарность естественным образом победила.

– Спасибо, сударушка, – он пощекотал Жекки за щеку своей бородой, заменив этим движением обыкновенное признательное чмокание. – И шурина поклон от меня передавай, и сестрице. Так и передай, мол, кланяюсь и благодарю. Елена-то Пална, чай, все в хлопотах с маленькой, не досуг ей теперь.

– Ну, уж не слишком-то она себя утруждает. У нее нянька замечательная, не нянька, а золото. Алефтина. Помнишь, та, что еще Степу у них вынянчила. И Павлушу. А, может, и Юру... В общем, она давно у них. И вправду, замечательная в своем роде. Но самое удивительное, что, кажется, Николай Степанович совершенно счастлив. Наконец-то после троих мальчишек дождался девочку. Да, он был просто на седьмом небе, когда об этом узнал.

Жекки тоже ощутила себя почти на седьмом небе из-за того, что без заметного принуждения перевела разговор на семейные радости сестры, недавно подарившей доктору Коробейникову очередного ребенка, и тем самым отвлекла Матвеича от проклятого Грега. Матвеич, заметно умиротво-

ренный таким оборотом беседы, принял на руки сонного Кота и, почесывая его за шею пониже морды, добился воркующего благодарного урчания. Лицо старика приняло обыкновенное добродушное выражение. Судя по всему, он постепенно приходил в себя. «Слава Богу, – подумала Жеки, – у него есть этот кот. Есть служба в лесничестве, и... Он как-нибудь справиться со всем этим, и мне не совестно будет оставить его одного. Вроде бы он держится молодцом».

Благодушный вид Матвеича действительно располагал к таким мыслям.

Потолковав с ним еще с четверть часа о всяких мелочах, о погоде, повторив подробную инструкцию относительно применения целительной мази и поблагодарив за вкусное угощение, Жекки простилась с лесником, пообещав заехать к нему снова, как только вернется из города, куда она собиралась по неотложным делам.

За воротами лесного особняка ее встретил Серый. Волк непринужденно поднялся навстречу, когда Жекки выехала на просеку. Как ни старалась она скрыть свое подпорченное настроение, острый взгляд Серого заметил перемену, произошедшую в ней. Она поняла это по тому, что волк проводил ее чуть ли не до самой усадьбы, к которой редко когда приближался, как и вообще к любому жилью двуногих. И проницательность Серого как всегда была более чем оправдана. Всю обратную дорогу до Никольского, не смотря на рассудочные уверения в том, что ничего особенного не слу-

чилось, Жекки не покидало какое-то безотчетно тяжелое чувство.

VII

На следующий день после обеда она отправилась с Андреем Петровичем Федыкиным – своим сезонным компаньоном – на мельницу Егорова. Еще раньше, утром, туда же из Никольского выехали три подводы с зерном под присмотром старосты Филофея. Жекки рассчитывала отдать на помол пока всего лишь восемнадцать пудов ржи, и вместе с тем купить у Егорова для своей надобности пуда три пшеничной муки. Еще нужно было примериться к расценкам Егорова и, возможно, продать-таки ему оставшуюся часть урожая. Живые деньги, как накануне призналась Жекки Матвеичу, были нужны до крайности.

Они ехали в Жеккиной легкой двуколке. Недовольный Алкид то и дело встряхивал под хомутом темной гривой, ибо возить Жекки предпочитал исключительно верхом. Но сегодня, решая судьбу оставшейся части урожая, Жекки нуждалась в советах опытного человека. Ради заинтересованного посредничества Федыкина ей пришлось пойти на известные жертвы. Да, и потом, сколь бы раскрепощенно ни вела она себя в собственных владениях, деловые отношения с подрядчиками, закупщиками и займодавцами, диктовали свои правила. Когда дело того требовало, Жекки с готовностью соблюдала предписанный этикет. Обыденный выезд в экипаже заключал в себе как раз все признаки традицион-

ности. Оделась она тоже с соответствующим случаю скромным достоинством: слегка укороченная, по щиколотку, в меру узкая коричневая юбка, укороченный и плотно по фигуре сидящий клетчатый жакет английской шерсти, на голове – маленькая изящная шляпка, украшенная умеренно-пестрым букетом цветов. Жекки осознавала, что выглядит в этом наряде очень мило и, вместе с тем, вполне консервативно.

Федыкин одним глазом посматривал на ее руки в коричневых лайковых перчатках, а другим успевал наблюдать дорогу. Это был еще не старый мужчина из мелкопоместных, умудрившийся за казенный счет закончить курс в коммерческом училище. Небольшого роста, слегка сутулящийся, с рыжеватой выцветшей бородой и тоже какими-то выцветшими слезящимися глазами, привыкшими смотреть на собеседника исподлобья или сбоку, прекрасно знающий «свой интерес» и умеющий его отстаивать при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах. Он жил на хуторе Грачи, в семи верстах от Никольского. Вел хозяйство, слыл превосходным аграрием и по старой памяти управляющего большим имением согласился, разумеется, за определенную плату, сезонно помогать Жекки советами и надзором за полевыми и прочими работами.

Особенно ценна его поддержка была осенью, когда предстояло правильно распорядиться собранным урожаем. С Жекки он держался почтительно, но без заискивания, и хотя в глубине души не мог одобрять такого порядка вещей,

при котором муж-помещик позволяет своей молоденькой жене распоряжаться всеми делами в имении, отдавал должное Жеккиной неутомимой энергии, практической сметке, и всему тому, что он называл «умением жить». Наблюдая ее уже не первый год в качестве хозяйки Никольского, он постепенно проникся к ней некоторым уважением. Полного доверия она, впрочем, не вызывала. Но, он научился прислушиваться к ее доводам, принимая их в расчет, даже если считал ошибочными. Вообще, за несколько лет они незаметно притерлись друг к другу, научились ладить, не смотря на почти постоянные разногласия.

Разговор в пути у них неизбежно зашел о превратностях русского климата и видах на будущий урожай.

– Еще один такой год, – сказал Федыкин, равнодушно поглядывая на пробегающие мимо поля, – и быть беде. Мужички уже сейчас ропщут всюю, а кое-где и поголаживают. Хлебушка-то собрали – кот наплакал, и к весне, пожалуй, что, сеять будет нечего. Проедят все до последнего зернышка, а тогда, что прикажете мужику делать? Голод – это вам, матушка моя, не шутка.

– В губернии есть казенные запасы на такой случай, – возразила Жекки. Разговоры про недовольство мужиков она воспринимала очень болезненно. – Власти должны будут вмешаться.

– Эка, власти. Что от них толку? Ну вмешаются, ну раздадут эти куцые запасы, так к тому времени сколько уже душ

ко Господу отправится? А то, что раздадут, мужички тут же и проедят с голодухи. А коли весной не засеют, то и осенью не пожнут. Стало быть, снова беда.

— Что же вы сделали бы на месте губернатора? Издали бы указ дождям немедленно пролиться над вверенной вам губернией?

— Я-то? — Федыкин деловито откинулся на сиденье, — я бы уже сейчас начал завозить в губернию зерно, потому как его потребуется не мало. За казенный там счет или благотвори-тельно, не важно. Чем больше завезут, тем лучше. Да только нешто, наши губернские на такое способны? Тут надобно самим шевелиться, а не успокаивать Петербург уверениями в совершенном своем почтении.

— Авось, бог милует, — сказала Жекки, выразив одновременно предполагаемую позицию губернских властей и свою собственную надежду.

— Вот то-то, что авось. А когда подступится напасть, поздно будет локти кусать. Наши мужички — народ робкий и покладистый, пока он хоть каплю, да сыт, а когда дойдет до края, тогда не обессудьте — возьмутся за топоры.

Жекки внутренне съежилась. Зрелище народного бунта ее отнюдь не прельщало. На ее памяти прошел 1905 год. Вспоминалось дружное ликование на улицах Нижеславля по случаю манифеста о даровании свобод. Крестьянские волнения тогда обошли их уезд стороной. Лишь в двух-трех местах, как ей приходилось слышать, произошли какие-то серьез-

ные конфликты мужиков с крупными землевладельцами, но и они закончились полюбовно.

Сейчас же, слушая Федыкина, она невольно задумалась о возможных последствиях неурожая. Думать об этом было неприятно, хотя мужицкий ропот звучал уже не где-нибудь, а у нее под боком – в Никольском. Пока еще глухой, бессвязный, но отдающий какой-то мрачной решимостью.

– А что это, Андрей Петрович, за странные слухи ходят сейчас в уезде о каком-то проклятье, – спросила она, припомнив случайно подслушанный обрывок из разговора двух никольских крестьян. – Что-то такое о засухе, как наказание за приятие нечистого и прочую чертовщину. Я ничего не понимаю, если честно.

– Да, говорят, говорят, Евгения Павловна. Известная вещь – народное невежество. Слушают своих проповедников. Старец какой-то Лука у них объявился. Ходит от деревни к деревне, собирает подаяние, да между делом выдает Правду. Народу же важно иметь объяснение свих несчастий. А какое они могут дать объяснение засухе, что случается два года подряд? Само собой, самое нелепое и чудесное, какое только может родиться в самом темном воображении. Старые сказки про Князя-хозяина, переиначенные по случаю на новый лад. Вот и все их объяснение.

Прожив большую часть жизни в Никольском, Жекки, конечно, не раз слышала распространенное в их лесном крае предание о некоем Князе – волке-оборотне, обитающем в ка-

юшинских дебрях и имеющем власть над всеми его обитателями. По представлениям крестьян Лесной Князь, – а они, надо полагать, признавали его своим настоящим хозяином, вольным распоряжаться их жизнью и смертью, – мог быть и милостивым, и гневным. Мог навести порчу на скот и урожай. Мог, приворожив человека, напустить на него безумие, а мог наслать такой невиданный достаток, что самый никудышный мужичонка сразу же превращался в богатея. Словом, самые обыкновенные сказки, наслоенные на более древнее поверье о людях-оборотнях, будто бы когда-то заселявших здешние леса. Жекки не считала возможным принимать всерьез эти выдумки. Но сейчас с тревогой поглядывая на Федыкина, слушала его внимательно и лишь изредка задавала вопросы.

– И что же проповедует этот Лука?

– А то, что Господу Богу не угоден стал наш местный люд, погрязший во всяческой скверне, отринувший благого Всевышнего и предавшийся во власть темного Князя. Отступились-то они, надо полагать, давно, да вот настал предел и Божьему терпению. И обрушил Господь на всех нас проклятье под видом засухи, ну вроде как огонь на неправедные города Содом и Гоморру, и обещал не давать более ни капли дождя, пока инские мужики не очистятся, то есть, не отрекутся от дьявольской власти.

– Какая чушь, – сказала Жекки, уверенная, что подобная галиматья не может толкнуть мужиков на выступления про-

тив помещиков, а ее волновала именно эта и никакая другая сторона вопроса.

– Ясно, что чушь – согласился Федыкин, искоса посмотрев в озабоченное лицо Жекки, – а только сказки рассказывать мы им запретить никак не можем. На чужой роток не накинешь замок. Разговоры эти останутся сами собой, если, к примеру, пойдут дожди. А не так, то будут продолжаться и, уж как водится, начнут обрастать новыми небылицами. Нам, землевладельцам, нужно быть готовыми ко всему. Особенно вам, Евгения Павловна.

Последнее замечание заставило Жекки обернуться с немym вопросом.

– Вы часто ездите в лес одна, катаетесь верхом по полям и проселкам. Вы дружны с лесником Поликарпом, вам нужно быть осторожной, Евгения Павловна, – заключил Федыкин и быстро отвел глаза.

– Не понимаю, – искренно удивилась Жекки, – какое им может быть до всего этого дело?

– Очень большое дело. В их воображении вы можете быть связаны с Князем, иначе, почему вы ездите одна по лесам. Пока Князь был милостив, возможно, это только добавляло вам почтения, а стоит народному мнению переметнуться, настроившись в духе проповедей Луки, и тогда любовь к красивым пейзажам, может вам дорого обойтись.

– Не хотите ли вы сказать, что я должна отказаться от...

– Это как вам будет угодно, – изрек Федыкин. – Пока

слышно всего лишь роптание недовольства. Что будет, если оно разрастется? Я-то грешным делом сужу так, что вам не следует легкомысленно относиться ко всем этим слухам. Хотя бы временно, пока мужички на взводе. А там, глядишь, может, все и образуется.

Жекки встретила предложение консультанта молчаливым осуждением. Она и не подумает менять свое поведение в угоду мужицким бредням. Уж если на нее не могли повлиять сплетни, распространяемые в «приличном обществе», то сплетни низов не повлияют подавно. Федыкин равнодушно принял ее молчание. Он сказал то, что считал необходимым в соответствии с заключенным между ними негласным контрактом, а уж как Жекки воспримет его совет, на то ее полная воля.

Алкид без усилий мчал двуколку с седоками по твердой, как булыжная мостовая, проселочной дороге. На ухабах двуколка подпрыгивала, выбрасывая Жекки высоко вверх над сиденьем. Федыкин, избавленный от необходимости править конем, держался одной рукой за низ сиденья, а другой – за боковую, в виде скобы, ручку повозки. Страдания возницы его занимали не больше, чем слабые порывы встречного ветерка. Но Жекки, устав взлетать и падать, все же выбрала момент, чтобы переложить вожжи в правую руку, а левой ухватиться за толстый кожаный низ сиденья. Стало намного удобней. Можно было даже слегка расслабиться, оглядеться по сторонам. Местность к тому располагала. Слева однооб-

разно тянулись сухие поля, справа – разноцветными изгибами пестрел Каюшинский лес. К горизонту подступала окутанная белесой дымкой глухая осенняя даль.

«И зачем все так, а не иначе? – вдруг накатило на Жекки знакомым безответным стеснением. – Почему не иначе?» Это грустное вопрошание позабытого мудреца от случая к случаю довольно часто в последнее время приходило ей в голову, обычно, когда она сталкивалась с каким-то особенно вопиющим противоречием или неразрешимыми в данную минуту сомнениями.

Мысли о голоде, расплзающемся по всей губернии, о подпирающих его таинственных преданиях, о таящихся под спудом страшных последствиях мятежа – страшных, прежде всего, своим безудержным произволом, – нагоняли на Жекки тревожные предчувствия. И хотелось бы не давать им воли, и надо было бы, взяв себя в руки, переключиться на предполагаемую цену, которую может дать Егоров за ячень, но обычная готовность мыслей откликаться на текущую практическую потребность почему-то больше не срабатывала. Тревога, словно коварная болезнь, однажды проникнув в мозг, продолжала монотонно, исподволь, не переставая, донимать ее.

VIII

– Да есть еще кое-что неприятное, – прервал молчание Федыкин, очевидно занятый всецело добросовестным исполнением «контракта». – Третьего дня услышал от одного моего приятеля, Юшкина – у него бакалейная лавка в Инске – и еще кое от каких тамошних знакомых. Говорят, в город, будто на ярмарку, съехалось несколько богатых людей из губернии, а частью и из столицы. И скажу вам, Евгения Павловна, замышляют они неладное.

– Что же? – спросила Жекки довольно рассеянно. Во-первых, она мало рассчитывала на приятные известия от Федыкина, а во-вторых, надеялась, что самые плохие он уже сообщил.

– Собираются они, будто бы, скупать земли по всему уезду, сплошь владениями и кусками, и прежде всего лес, что еще остается в частных руках.

– Ну и что? – Жекки с недоумением взглянула на Федыкина. – Пусть себе скупают, лично я им ничего продавать не собираюсь.

– Могу предположить, что вам не удастся от них отвертеться.

– Это еще почему?

– Потому, Евгения Пална, что люди из столиц просто так не приезжают в лесное захолустье. Их интерес к Каюшинско-

му лесу весьма и весьма основателен. Настолько, что, когда известный вам Муханов отказался, по слухам, продать им свой участок, то через пару дней в инском управлении Петербургского банка его уведомили о переходе его имения в безраздельную собственность этого самого банка по закладной за неуплату. Муханов клянется, что изначально по договору сумма процентов была вдвое меньше, что они подсунули ему другую бумажку, а он, не глядя, ее подмахнул. И теперь у него нет ни денег, ни имения.

– Вы хотите сказать, что эти люди... что они...

– У них связи, короткие знакомства с губернскими чиновниками, с банковскими управляющими. Я полагаю, из Петербурга их тоже никто не одернет. В их делах замешана уйма важного народа. Дела эти, понятно, не нашим чета. У них на кону сотни тысяч, а то и миллионы, и они пойдут на что угодно, лишь бы получить свое.

– Что вы такое говорите, Андрей Петрович. Да это против всех правил. И потом, разве они получают свое? Это же настоящий грабеж.

– Это уж как вам будет угодно.

– Но какой у них может быть интерес? С какой стати им потребовался наш лес? Зачем?

– А, вот это самый правильный вопрос, Евгения Пална. Зачем? – Федыкин потянул недолгую паузу, взглянув на Жекки исподлобья с каким-то сомнительным торжеством, словно в эту минуту отождествлял себя с «богатыми людьми

из столиц». — Но и на него ответец уже имеется, — продолжил он, с поспешностью опутив глаза. — Говорят, это ведь все пока только слухи, будто через каюшинские леса хотят провести железную дорогу, при том не в одну, а в две линии. А в Инске построить большую узловую станцию. Вы представляете, по какой цене можно будет продать эти скупленные участки? Да отныне, если только все это правда, в чем лично я не сомневаюсь, наш уезд превратится в подлинный Клондайк, в золотой прииск имени Джека Лондона.

Жекки не читала Джека Лондона и не знала, что такое Клондайк, а из всего сказанного Федыкиным поняла только одно — Каюшинский лес, Никольское, а значит, и она сама, ее жизнь и все, что было ценного в этой жизни, вот-вот будет поставлено на край какой-то ужасной пропасти. От осознания этой новой беды перед глазами у нее поплыл красный туман. Затылок, словно зажатый в тисках, сдавила мгновенная боль. Она почувствовала невыносимое жжение в пересохшем, словно ошпаренном раскаленным песком, горле. И еще прежде, чем к ней вернулась способность понимать окружающее, Жекки с бессознательным нетерпением потянулась к своей дорожной сумке, брошенной в углу сиденья. Судорожными пальцами нащупав в ней округлый бок жестяной баклажки, она поскорее вытащила ее и, ни говоря ни слова, сорвала пробку. Ледяная колодезная вода из никольских недр спасительно обожгла рот. Задышавшись, она принялась пить большими порывистыми глотками, пока не по-

чувствовала, что смертоносная сушь в горле побеждена, и мутные красные очертания предметов не обрели привычной четкости и естественной окраски.

С незапамятных пор Жекки усвоила неперемное правило – не уходить и не уезжать никуда, не прихватив с собой хотя бы небольшой запас воды. Она знала, что, удалившись от жилья, оказавшись в чужом месте, легко сможет обойтись без еды, без крова над головой, без помощи людей, но совершенно не способна обойтись без воды. Поэтому для нее существовал железный закон – уезжая из дома, ни в коем случае не забывать эту баклажку. Подумать только, что бы она сейчас делала без нее! Жекки еще жадно поглощала свой волшебный напиток, как в голове у нее промелькнула грустная мысль: наверное, с такой же жадностью впитала бы в себя каждую каплю влаги и высохшая окрестная земля. Жекки чувствовала это, как будто сама была ее малой частицей, некогда отломившейся от огромного целого. Как никто другой она понимала, что должна испытывать изнемогающая от жажды земная плоть, не менее живая, чем ее собственная.

Отдышавшись, она закрутила пробку и вернула баклажку с остатками воды на прежнее место. Федыкин, как ни в чем не бывало, смотрел по сторонам. Скорее всего, он даже не понял, какое потрясение произвело его сообщение. Переживания госпожи Аболешевой имели для него значение только в рамках, установленных условиями негласного договора. Предотвращать внезапные приступы жажды, равно как и

волноваться по поводу существования Никольского, заключенный между ними контракт не предписывал.

– Что же по-вашему мне теперь делать? – спросила Жекки, как только дар речи вернулся к ней. – Если мне предложат продать мой лес?

Вот это вопрос по существу, и на него Федыкин должен дать максимально продуманный ответ.

– Продавать, – выдал он, слегка потягивая спину, уставшую от однообразного положения. – Сразу же соглашайтесь. Больше начальной цены они все равно вряд ли дадут. Не те это покупатели, что привыкли уступать.

Жекки подавленно замолчала. Продать двести десятин Каюшинского леса, принадлежавшие еще ее прадеду, да Федыкин просто с ума сошел, или он хочет над ней посмеяться? Впрочем, Федыкин никогда над ней не смеялся, не шутил, не заводил флирта. У них была одна, исключительно практическая заинтересованность друг в друге, и Жекки даже с большей сердечностью пыталась подходить к человеческим особенностям Федыкина, чем он к ее сложному своеобразию. «Что же теперь делать?» – этот безответный вопрос повис в воздухе, как Домоклов меч, требуя от Жекки какого-то решения. Решение, предложенное Федыкиным, не шло ни в какие ворота. Она ни за что не расстанется с владениями, принадлежащими ей по праву. Это ясно, но, что же в таком случае делать?

– А, если, положим, я не соглашусь, что тогда? – спросила

она на всякий случай и, желая попутно выудить как можно больше сведений о планах «заезжих покупателей».

– Я бы не советовал вам этого, Евгения Пална, – ответил Федыкин, на сей раз вытягивая затекшие нижние конечности, – не стоит с ними тягаться. Просто даже глупо это будет с вашей стороны. Вспомните Муханова. Очень показательный случай. Вспомните про свои непогашенные долги. Это для них крючок, за который вас можно легко подцепить. И если предложат, повторю еще раз – продавайте, не задумываясь. Останетесь, по крайней мере, с домом. Лес-то они у вас все равно отберут, так уж лучше продайте. Вернее всего затребуют его вместе с Марьиным выгоном, да и часть Волчьего Лога прихватят. Я, понятно, карты строительства не видел, но могу прикинуть по тому, что уже знаю, где они купили участки и по тому, как должны разойтись пути от узловой станции, если она будет строиться вблизи Инска. Ничего тут мудреного нет. Так вот, выгон и Волчий Лог тоже нужно будет продать. Они лежат акурат поперек строительства. А природные красоты в прежнем виде вам уже наблюдать не придется в любом случае, потому как железная дорога, Евгения Павловна, пройдет на двести пятьдесят верст в обе стороны от города, а стало быть, от Каюшинского леса все равно останутся только рожки да ножки.

– Не может быть, – едва выговорила Жекки, сглотнув вязко набухшую слюну. – И что же теперь делать?

Этот вопрос был обращен не к Федыкину. От своего кон-

сультанта она уже не ждала ответа. Вопрос, повисший в воздухе, обращался в воздух, пустоту, которая распухала, словно наполняемый газом воздушный шар, и росла, расплзалась, растягивалась во все концы света, заслоняя собой привычный мир, выталкивая его на неведомую обочину. Нет, Жекки не могла вдумываться в смысл происходящего. У нее просто не хватало сил выдержать это наваждение. Ей вдруг невыносимо захотелось, чтобы Федыкин замолчал, исчез. Лишь бы не слышать дребезжащий лязг его голоса. Но Федыкин, сочтя необходимым высказаться по заданной теме, продолжил, как ни в чем не бывало, тем более, что затекшие конечности перестали его временно беспокоить.

— И я считаю, что выгон, лог, лес — это пустяки. С полсотни десятин у вас так и так останется. А, куда вам больше? Я так, почитай, половины лишусь, да и то, пожалуй что, весь хутор сбуду с рук. При том задорого. Я уже в городе и лавчонку с товарцем себе присмотрел и долю в сырном деле Беркутова смогу выкупить. Да мало ли еще что.

Жекки не верила своим ушам. Неужели Федыкин и впрямь готов вот так запросто продать землю? И как он может говорить об этом спокойно, как будто речь идет о продаже негодных штанов. Да как же он будет жить? Жекки всматривалась в его ссутуленную, но такую крепкую фигуру, в тщательно расчесанную выцветшую бороду, спрятанные от нее полузакрытыми веками слезящиеся глаза, и недоумевала, почему видела в нем какого-то совершенно другого че-

ловека. Куда он делся, прежний Федыкин, или это не он, а она спятила сегодня? Сделанное открытие обескураживало. Ибо так же как люди, умеющие легко обходиться без водных запасов, вызывали у нее смутную зависть и смутные подозрения, так и люди, готовые добровольно отказаться от земельной собственности казались выходцами из потусторонних миров, а отнюдь не живыми нормальными людьми. Долгое время она думала, что Федыкин нормальный человек, а сейчас, слушая его, вынуждена была признать, что он отнюдь не тот опытный аграрий, на которого могла всегда положиться. Доля в сырном деле, видите ли... Ну-ну...

IX

Она несильно, лишь для остратки, подернула вожжами, вынуждая Алкида прибавить шаг. Мельница Егорова уже вырисовывалась за поворотом дороги, и Жекки из последних сил заставила себя подумать о возможных предложениях мельника относительно покупных цен. Федыкин не вполне выговорился, но находил излишним рассыпать на ветер суждения, имевшие, по его мнению, достаточно высокую ценность, чтобы позволить кому бы то ни было пренебречь ими.

На мельницу они въехали молча. Сам Егоров вышел к ним навстречу, приветствуя, важно поклонился. Жекки без интереса выслушала его речь на счет своих восемнадцати пудов, которые привез Филофей, рассеянно оглядела обширный двор. От подвод к воротам мельницы грузчики то и дело перетаскивали тяжелые мешки. Справа и слева стояли подводы, толпились возчики. Жекки едва кивнула Филофею, почтительно стянувшему перед ней шапку. Она не слышала собственного голоса, произносившего какие-то необходимые слова. В сущности, она так и не доехала до этой мельницы, оставшись на проселочной дороге, ошарашенная и подавленная.

Федыкин, напротив, как всегда деловито распоряжался, возмущаясь тем, что мужики не отвели лошадей под навес. Настаивал на пересчете привезенных мешков, разговаривал

с приказчиком Егорова и с самим Егоровым, успевая при этом жестами подавать какие-то знаки своему батраку из Грачей и отмахиваться от вихрей мучной пыли. Кутерьма на мельнице захватила его с головой. Все его занимало, до всего было дело. А Жекки с трудом согласилась на чай в конторе. С неудовольствием выслушала хвастливое описание Егоровым его неустанных трудов на благо «общества». Безрадостно встретила сообщение о том, что «благодарение Богу дела идут неплохо, хотя хлебушка у мужичков не в пример прошлому году, а ить и тот был нескладен». Ей становилось скучнее с каждой минутой. Так и не дотянув разговор до главной темы – покупных цен на зерно, она предоставила Федыкину самому продолжать обсуждение.

Жекки не терпелось остаться одной. Надо было без суеты, как следует подумать. Прощание с Егоровым вышло скомканным. Сославшись на ожидаемое с часу на час возвращение мужа, которое она, якобы, боялась пропустить, – Аболешев неделю назад отправился в Нижеславль, и сегодня должен был приехать двенадцатичасовым поездом, – она поспешила переложить на Федыкина обязанности главного переговорщика. Сама же, не задерживаясь больше ни на минуту, отправилась восвояси.

Некоторое облегчение она почувствовала только, когда миновала поворот, и дорога, выпрямившись, монотонно потянулась вдаль, по кромке пашни, теряясь почти у самого горизонта за темным лесным выступом. Ясный сухой день пе-

ревалил за половину. Было довольно тепло. Матовое солнце неравномерно разбрасывало золотые блики на высокие кроны сосен, выделяя ярко-зеленые пятна, прикрытые глубокими тенями и полностью охватывая стройные розовые стволы, почти до самой макушки лишённые ветвей. Затесавшиеся между сосен ели оставались почти незаметными, зато все лиственные — березы, осины, рябины и клёны, ярко облитые солнечными лучами, пестрели всеми оттенками огненного прощального блеска. Порывы ветра приносили на дорогу шуршащие потоки листьев, и от них исходил тот пряный томительный запах, что один дает почувствовать осень.

Жекки ослабила поводья, позволив Алкиду бежать, как тому вздумается, а гнедой, будто чувствуя настроение хозяйки, незаметно перешел с рыси на шаг. Жекки и впрямь никуда не спешила. По крайней мере, вовсе не собиралась лететь сломя голову навстречу блудному мужу.

Частые отлучки Павла Всеволодовича под довольно сомнительными предлогами давно вызывали у нее ревнивые подозрения, но сейчас нужно было сосредоточиться совсем на другом. При встрече с Аболешевым, если она сочтет нужным, можно поговорить вполне откровенно и разъяснить все недоразумения. А вот как быть с этой неожиданно свалившейся бедой, о которой поведал Федыкин? Что станет с Каюшинским лесом, если через него проложат железную дорогу? Ведь тогда от него мало что останется. Деревья вырубят, птицы улетят, зверь разбежится. Куда тогда деваться Поли-

карпу Матвейчу? А Серый, что станет с ним?

Последний вопрос почему-то пересилил все прочие. Предательский слезный ком, упрямо сдерживаемый уже более часа, подступил-таки к самому горлу и приготовился обернуться потоком неудержимых слез. Вообще-то, Жекки редко плакала, терпеть не могла плакс, и всегда считала слезы чем-то постыдным. Но, если уж они подбирались к ее глазам, их невозможно было унять. Вот и сейчас, медленно одиноко волочась по пыльному проселку, Жекки позволила себе поддаться маленькой слабости. Она начала шмыгать носом, отрывисто смахивать ползущие по щекам слезинки, оправдывая себя тем, что лучше уж сейчас дать волю нервам, чем потом раскукситься в самом неподходящем месте. Что же тут поделаешь... Слезами, конечно, не поможешь. Да и всегдашние заботы сами по себе не отвяжутся. Завтра возможно, она вместе с Аболешевым отправится в Инск. Там необходимо выяснить, возможна ли отсрочка выплаты по закладной и заодно проверить слухи на счет железной дороги. Если окажется, что Федыкин ничего не придумал, то тогда... Тогда придется сделать кое-что, от чего столичным покупателям придется поумерить свой пыл. Но что же? Что она может сделать? – Жекки проглотила очередную порцию текучей солевой влаги. В носу шумно захлюпало. И тут она словно перевела дыхание. – Как же это сразу не пришло ей в голову! Ведь нужно просто ни за что не продавать свой участок, только и всего. Сказал же Федыкин, будто ее земля располагается

«поперек стройки». Вот пусть и лежит поперек, как кость в их паршивом горле.

Жекки вытерла последнюю слезу, обмакнув уголки глаз платком. Высморкалась и вопреки непрошенным, остаточным спазмам, застрявшим где-то за грудиной, почувствовала себя заметно лучше. Алкид прибавил ходу. Двуколка, подпрыгивая на затвердевших пригорках, словно пушинка полетела вперед.

Напротив старой полусгнившей сосны, сломавшейся во время грозы минувшим летом, начиналась развилка дороги. Правая половина шла на Никольское, а левая углубляясь в поля, выводила к селу Аннинскому. Там, где-то в изгибе круто петляющей колеи, за высоким холмом с одинокой березой на вершине, прятался придорожный кабак. Жекки вспомнила о нем, увидев лежащего ничком прямо на дороге оборванного мужика. Мужик пытался ползти, издавая громкие нечленораздельные звуки. Над ним склонялся, пробуя безуспешно распрямиться во весь рост, другой, всклокоченный, с красными блуждающими глазами. Такие народные типажы попадались здесь довольно часто. Не обращая на них особого внимания, Жекки проехала дальше.

А вот двое, еле плетущихся нищих почему-то надолго задержали ее взгляд. Они шли со стороны Аннинского и подходили к самой развилке, когда Жекки поравнялась с ними. Она отчетливо рассмотрела иссохшее, страшно изъеденное глубокими морщинами лицо старика с бельмами вместо

глаз. Его голова, неестественно запрокинутая и скошенная на бок, казалась обузой для худенького сморщенного тельца, одетого в истлевшие обноски. В правой руке старик сжимал длинный костыль, а левой опирался на босоного мальчика лет десяти. Что-то заставило Жекки остановиться, хотя она, по правде говоря, с детства боялась всяких юродивых, покалеченных, убогих, шатавшихся по деревням в поисках пропитания.

Подъехав к обочине, Жекки придержала коня и подозвала мальчика. Тот подошел к двуколке, стягивая на ходу ветхий картузик. Подойти совсем близко он не решался. Жекки увидела его худенькое прозрачное от голода личико, все усыпанное веснушками, голое тощее плечо, вылезающее из дырки в грязной истрепанной сермяге, исцарапанные и покрытые цыпками босые ноги. И только большие васильковые глаза, бездонные как само страдание, смотрели с грустью и смирением, выдавая в этом маленьком двуногом зверьке нечто подлинно человеческое. Жекки вытряхнула из кошелька всю мелочь в подставленные горстью ладошки мальчика. «Дай Бог вам здоровья, добрая барыня», – сказал он, поклонившись, и пошел обратно к слепому. Тот тоже поклонился, и снова запрокинул голову кверху. «Спаси Господи», – послышалось ей, когда она уже тронула с места.

«Такие же люди ходили по этим дорогам и тысячу лет назад, – подумала она, – какие-нибудь проповедующие странники вроде Луки. Ничего не изменилось. Лохмотья, нищета,

вера во всесильного Князя». Вспомнив сейчас про легендарного Князя, Жекки даже улыбнулась. Ну, как можно было бояться каких-то дремучих поверий. Голода, конечно, бояться стоит, потому что он расстроит правильное течение дел в ее хозяйстве. И конечно, вопрос гуманности, и все такое... Мужичкам придется что-то отдать, может быть, помочь семенами. Но все это пустяки по сравнению с возможной потерей Каюшинского леса. А она не может, не должна его потерять. Ее решимость, закалившись в слезах, теперь, как казалось, могла одолеть любое сопротивление. Поколебать ее было уже невозможно. Оставалось лишь обдумать подробности и, не мешкая, приступить к исполнению задуманного.

Х

Близость прохладного денника, пропахшего сеном и его собственным потом, все же вынудила Алкида ускорить бег. Дорога подходила к Волчьему Логу, где Жекки как обычно собиралась свернуть на тропу, столь изрядно сокращавшую ее путь до Никольского. Солнце остывало, клонясь на запад. Последние проблески обманчивого тепла расходились в сплетениях розовых теней, что, сползая в блеклую дорожную пыль скорбного русского проселка, придавали ему сочный тропический румянец. Розовый цвет этих теней, мутно алеющий за верхушками деревьев склон неба и слабые красноватые отблески, падавшие на деревья, напоминали о скорых осенних сумерках, незаметно подступающем мраке, о прощании с чем-то дорогим и недолговечным.

Предзакатный свет бился в глаза, мешая следить за дорогой. Жекки даже зажмурилась, чтобы побороть ослепление, как вдруг за поворотом на Волчий Лог беззвучно ахнула и машинально натянула поводья. Она увидела – и в это было почти невозможно поверить – замерший у самой обочины автомобиль, осевший в глубокой выбоине правым передним колесом и оттого слегка перекосившийся вправо. Одним запыленным бортом он вбирал нависающую тьму еловой чащи, другим, с проступающими сквозь серый налет глянцевыми пятнами, захватывал алые отблески солнца. Его стек-

ла, зеркала, подзолоченная в вечерних лучах латунная отделка радиатора с мерцающей частотой выбрасывали во все стороны разноцветные бриллиантовые брызги, ослепительно вспыхивавшие и почти сразу пропадавшие в тусклой пыли лесного проселка.

Послушный Алкид остановился в десяти шагах от необычного существа, резко пахнущего новой резиной, обивочной кожей и еще чем-то особенно неприятным, похожим на керосин. Возможно, это и был керосин. Запах был сильный, дурманящий. Алкид фыркал, нетерпеливо перебирал ногами.

Жекки заворуженно уставилась на явленное ей чудо. Новенький, поблескивающий черным гляncем, автомобиль, застрявший на никольской дороге, был зримым воплощением неостановимого технического прогресса, идущего не по дням, а по часам. Самый воздух окрестных полей, еще недавно казавшийся упоительным, в виду чудесного автомобиля, становился непереносимо затхлым и безжизненным.

Жекки была так очарована, что не сразу обратила внимание на раскрытый капот машины, из-под которого поднимался легкий голубоватый дымок. За поднятой крышкой капота, укрепленной с помощью вертикального стержня, происходило какое-то движение. Высокий мужчина, очевидно автомобилист, что-то усердно перебирал в раскрытом чреве среди металлических внутренностей. Розовый свет, заливавший дорогу, как луч прожектора, то выхватывал играющие

под его тонкой рубашкой плечевые мускулы, то ронял светлые блики на склоненный смоляной затылок.

Жекки догадалась, что автомобилист пытается исправить какие-то неполадки в двигателе. Ах, с каким удовольствием она оказала бы ему любую посильную помощь. Но она ровным счетом ничего не понимала в машинах. Приходилось только молча, гипнотически наблюдать.

Автомобилист все еще не замечал ее присутствия, видимо, не слишком нуждаясь в помощниках. Вскоре голубоватый дымок перестал подниматься над крышкой капота. Фигура водителя распрямилась, капот захлопнулся, и Жекки увидела обращенный на нее быстрый вопрошающий взгляд.

Черные сощуренные глаза сверкнули, молниеносно охватив ее снизу доверху. Обтянутые полупрозрачными чулками голени, выставленные на показ по оплошности из-за слишком поспешно подобранной под сиденье юбки, глубокий вырез жакета, полураскрытые влажные, явно вопрошающие о чем-то губы приковали его внимание на бесконечно долгие секунды. Для Жекки они стали настоящей пыткой. С невероятным трудом ей удалось сдержать возмущение: «Да он... кто он такой, что смеет разглядывать меня, точно ярморочный барышник лошадь?» Само собой, всякие симпатии к автолюбителю немедленно улетучились. Жекки приняла строгий вид, но незнакомец предпочел этого не заметить. Напротив, оскорбительно дерзкое выражение на его лице сменилось нарочито-насмешливым.

– Добрый день, сударыня, – сказал он приятным грудным голосом. – Вы интересуетесь техническими новинками? – Жекки поспешно одернула юбку и, едва кивнув, вместо ответа бросила на него сердитый взгляд. – Что ж, рекомендую. «Шпиц» или австрийский Ролс-Ройс фирмы «Грэф и Штифт» последней модели. Четырехцилиндровый двигатель мощностью в тридцать две лошадиные силы, может развивать скорость... ну, в переводе на версты, что-то около шестидесяти верст в час. Разумеется, по хорошей дороге. Редкий экземпляр, смею уверить. Такой же точно есть только у эрцгерцога Фердинанда, если вам что-нибудь говорит его имя.

Все еще охваченная смятением, Жекки ничего не ответила. «Чего доброго, он примет меня за здешнюю деревенскую дурочку», – подумалось ей.

Незнакомец выждал приличную и несколько затянутую паузу, но, заметив, что молодая дама в двуколке продолжает безмолвствовать, очевидно, с трудом одолевая потрясение от неожиданного знакомства, прибавил чуть более снисходительным тоном:

– По правде говоря, я и сам не так давно освоился с этой штуковиной. Владение авто требует, знаете ли, ежедневных упражнений, как в боксе, а у меня не всегда находится свободное время для того и другого. Подчас я даже теряюсь, какое из этих двух занятий мне следует предпочесть.

Говоря, он с медлительной тщательностью вытирал руки о

полотняное полотенце, неторопливо раскатывал рукава рубашки, застегивал жилет. Потом, уже прислушиваясь к голосу собеседницы, небрежно потянулся к водительскому сиденью, на которое были брошены пиджак и мягкая фетровая шляпа. Одевание сопровождалось то отточено короткими, то продолжительными, обволакивающими, как речная волна, заинтересованными взглядами, неотступно следящими за Жекки все с той же придиричливой остротой заправского барышника, неожиданно напавшего на нужный товар.

– Сочувствую вам, – наконец выдохнула из себя Жекки. – Вы стоите перед поистине трагическим выбором.

Незнакомец невозмутимо, словно не расслышав иронии в ее словах, оправил галстук. Костюм сидел на нем идеально.

– Поистине, я никак не рассчитывал встретить в здешних лесах столь смелое и очаровательное создание. Вы всегда ездите одна по этой дороге?

«Смеет передразнивать, да еще намекает на что-то... Собственно, что он хочет сказать?» Сами по себе его слова мало что значили. Значение имела лишь та отвратительная самодовольная манера, с которой он их произносил и с которой вообще позволял себе держаться. Именно эта завуалированная издевательская беззастенчивость выводила Жекки из равновесия. В сущности говоря, с подобным типом наглеца она сталкивалась впервые.

– А вы, я полагаю, совершаете автопробег Париж – Осьмушки? Мечтаете попасть в газеты? – спросила она, доволь-

ная своей нечаянной колкостью.

Он едва усмехнулся.

– Боже сохрани. Нет, это обычная деловая поездка. Я собираюсь купить кое-что в этих краях.

Смысл его слов не дошел до Жекки. Ей почему-то захотелось поскорее вернуться домой, упасть в объятия Аболешева, вывалить на него всю накопившуюся за день усталость. Говоривший с ней человек был ей неприятен. Его дерзость требовала немедленного ответа, а она была слишком утомлена, чтобы бросаться с отповедью после каждой его реплики. Но и принять его поведение без должного отпора не могла. Вот и получалось, что лучшим выходом было пожелать хозяину австрийского ролс-ройса счастливого пути.

– Послушайте, нет ли у вас с собой фляги с водой? – неожиданно спросил он, обнаружив, что его последнее замечание не получило никакого отклика. – Я был бы вам крайне признателен, если б вы не отказали бедному путешественнику в такой малости, как кружка воды. Мне не хочется сворачивать в деревни из-за всякой ерунды. И, говоря откровенно, мое появление вызывает у местного населения панику.

Жекки с неохотой достала жестяную баклажку, в которой булькала невыпитая вода и протянула ее незнакомцу. Он неторопливо подошел к ней, застегивая на ходу пиджак. «Все-таки не совсем хам», – подумала Жекки, и невольно, глядя на него, отметила его на редкость правильное мускулистое сложение, гибкие движения, гордую посадку головы

и безусловную мужскую красоту замкнутого лица с тонкими прямыми чертами, самоуверенным выражением черных глаз и насмешливым изгибом плотно сжатых губ под тщательно выбритой черной ниточкой усов.

– Полагаю, этого хватит, – сказала она, передавая ему баклажку.

Он принял ее молча. Не спеша, открутил пробку и сделал несколько жадных глотков. Когда он стоял вот так близко, ухватившись одной рукой за боковую скобу двуколки, Жекки с удивлением поймала себя на, казалось бы, давно позабытых ощущениях детской робости и девического смущения. Последнее угнетало особенно в силу явного преобладания. Она чувствовала всем существом, как от этого человека исходит неподдельная мощь, скрывающая в себе пока не явную угрозу. Его сила отталкивала и одновременно манила, как манит всякого смелого человека ощущение опасности, необходимость смертельного риска или предчувствие схватки с заклятым врагом. «Неужели я встретила врага?» – подумала Жекки, когда незнакомец, возвращая, протянул ей совершенно пустую баклажку.

– Благодарю вас. Вы спасли меня от жестокой смерти. – В его словах, не смотря на теплые нотки, опять прозвучала издевка. – Между прочим, в Полинезии по обычаю тамошних племен, юноша обязан отплатить девушке, напоившей его, совершенно определенным образом.

Автолюбитель не стал уточнять, каким, потому что Жек-

ки и без того залилась обличающей краской. Она на чем свет кляла свою дурацкую способность краснеть из-за всяких пустяков, и уже жалела, что пожертвовала столь наглomu типу всю свою драгоценную воду.

– Слава Богу, мы не в Полинезии, – отрезала она, берясь за вожжи.

– Я уже понял, что вы замужем, но не могу ли я хотя бы узнать...

Да, он просто сумасшедший, если думает, что с ней можно заводить роман прямо посреди дороги. Мало того – он рассмотрел обручальное кольцо на ее руке, и это его ничуть не смутило. Хорош гусь, нечего сказать!

Незнакомец продолжал нагло улыаться. Похоже, дорожное знакомство развлекало его. Но словно почувствовав, что Жекки вот-вот взорвется, автолюбитель неожиданно резко переменял тон.

– Прошу меня извинить, если я нечаянно вас обидел, – произнес он с почтением, в котором трудно было заподозрить неискренность. – Я вовсе не имел намерения задеть ваши чувства.

И как бы в подтверждение этих слов, взял не успевшую опомниться Жекки за руку и поцеловал незащищенное лайкой перчатки узкое запястье долгим обжигающим поцелуем. У Жекки что-то сладостно и больно екнуло в груди, и она опять почувствовала себя смущенной, потерянной и почему-то страшно польщенной. От его блестящих, черных, как

смоль волос, веяло дорогим английским одеколоном, перебывавшим въевшийся в одежду запах бензина. Его устрашающе сильная рука сжимала ее руку с невесомой легкостью, а обезоруживающая белозубая улыбка отводила в небытие все низкие подозрения, если таковые еще могли существовать в отношении столь обаятельного и любезного молодого человека, каковым был он — мужественный водитель автомобиля марки «Грэф и Штифт» с двигателем мощностью в тридцать две лошадиные силы.

Жекки уже была готова простить его, вероятно, невольные, случайные, совсем чуточку странные отклонения в поведении и уже собралась со всем подобающим достоинством сообщить ему о своей невольной ошибке, как ее глаза странным образом остановились на одной неподвижной точке, мгновенно наполнившись не то слезной пеленой, не то растекающейся из глубины зрачков слепящей радужной мглой. Она увидела кольцо... Это было какое-то чудовищное заклятье... Такое же кольцо с... на мизинце левой руки, ухватившейся за край двуколки, она увидела кольцо с мерцающим черным камнем, и в ее сознании закружились недавно прозвучавшие где-то слова, измятое лицо Матвеича, его опустошенные глаза, устремленные в неведомую пропасть, опять слова, неизбытая боль, тяжесть непрощенной обиды, натруженные пальцы, сжимающие штанину над коленкой и опять слова: «... Грег, как все его называли». Жекки овладел такой дикий испуг, что незнакомец, заметив перемену на ее лице,

перестал улыбаться.

— Что случилось? — спросил он удивленно. — Я вас ужалил?

Если бы... Жекки не могла говорить. Она неопределенно кивнула, встряхнула вожжами и, причмокнув, приказала Алкиду не своим голосом: «Но, пошел!» Это значило лететь стремглав изо всех сил, во все четыре копыта, пока наглый автомобилист не вздумал ее догонять на своем шикарном грэфе энд штифте.

Конь рванул с места. Двуколка подпрыгнула на кочке и понеслась, оставляя позади густые клубы пыли. Жекки было совершенно все равно, что Грег о ней подумает, что станет рассказывать об их встрече каким-нибудь своим мерзавцам-приятелям, и будет ли смеяться втихомолку, вспоминая о странностях инских барынь. Ее не волновали, не могли больше волновать его впечатления. Она узнала его, и ее испуг был сродни ужасу дикого зверя перед внезапно вспыхнувшим охотничьим факелом. Жекки бежала от него как задравленная лань. Она боялась погони, но ее никто не преследовал.

XI

«По-моему, для одного дня потрясений вполне достаточно, – решила Жекки, когда двуколка уже неслась по подъездной кленовой аллее, и в просвете между деревьями показались белые колонны ее фамильного дома.

– По крайней мере, здесь я не встречу оборотней и не услышу про грядущее светопреставление».

Дом, показавшийся из-за раскидистых медно-багровых кленов, отстроенный прадедом Жекки Павлом Николаевичем Ельчаниновым еще в начале прошлого века, сразу после изгнания наполеоновской армии на месте предыдущего, деревянного, впоследствии был достроен и расширен при ее двоюродном деде – Алексее Павловиче. Тогда же он приобрел свой окончательный вид, мало изменившийся по сию пору. Каменный, двухэтажный, покрытый белой штукатуркой, с невысокой мансардой под железной крышей, с четырьмя фасадными колоннами и геометрическим лепным орнаментом по периметру фронтонов, он являл собой образец типичной усадебной постройки, выполненной в классическом стиле.

Внешняя прохладца его физиономии мало кого могла ввести в заблуждение. Все в облике этого дома говорило о его покладистом, веселом, гостеприимном характере. От приветливого света, льющегося из окон-очей, до задиристо вы-

сунутой над кровлей широкой каминной трубы. От прохладного сумрака прихожей до уютного покоя ореховой библиотеки. От гостиной, переполненной воспоминаниями, теснящимися в ней точно отзвуки давно позабытых мелодий, запертых в старомодной музыкальной шкатулке, до зазывно раскрытой, вкусной и пухлой, как сдобная булка, белостенной столовой. Каждому было внятно обаяние старого Никольского – благодушное обаяние старой семейной крепости, повидавшей всякого на долгом веку, но сумевшей сохранить за античной строгостью стен живой неунывающий дух своих потомственных хозяев – Ельчаниновых.

Душой и кровью принадлежа этому роду, Жекки знала свой дом, еще не успев родиться, а, родившись, начала не знакомиться с ним, но узнавать как давно ей известное, обжитое, устроенное, свое. Старинные темные портреты с паутинками потрескавшегося лака, развешанные в гостиной. Скрипы паркетных половиц и дверных петель, звучавшие как голоса каждой комнаты, по-особому. Сладкие запахи, живущие в чулане, запретном для детей, и горьковато-терпкие, отдающие апельсиновой коркой, обитающие в буфете, поначалу тоже запретном.

Заклученная под стекло старинная, напечатанная на серовато-розовой толстой бумаге, грамота с рисунком дворянского герба и простым безыскусным описанием: «Щит разделен перпендикулярно на четыре части, из коих в первом в зеленом поле изображена куча Ядр...» Жекки очень нра-

вилось, что именно куча и именно Ядр с прописной буквы. «... а по сторонам оной видны три серебряные шестиугольные Звезды...» Звезды в их гербе должны были быть непременно. Жекки это чувствовала без объяснений. И именно серебряные, чистые и светлые, восходящие на заре, как утренняя богиня Аврора, потому что только такие Звезды могли освещать со своей незапятнанной высоты земной путь порученных им скитальцев. Кажется, это тоже слишком понятно, чтобы требовать какого-то разъяснения.

А вот и дальше: «Во второй в золотом поле и в четвертом в зеленом поле поставлена Ель (опять с прописной буквы), имеющая вершину естественного цвета, а корень золотой... «Ах, как это славно, что корень золотой, и как чудесно это самое прекрасное на свете сочетание красок – золотой и зеленой. Золото с зеленью сплавлялись в самом звучании. И Жекки чудилось в этом, как и в каждом сочетании слов, составляющих будто бы обычное геральдическое описание, нечто глубокомысленное, имеющее высокий и таинственный смысл. И она узнавала этот смысл, данный ей свыше. В нем заключалась память ее рода, ее собственной, бесконечной во времени души.

Вчитываясь в заключительные строки кодовой записи, она находила в глубинах своего «я», подавленные временем, но пощаженные бесконечностью, спрятанные в себе расшифровки: «В третьей части в голубом поле видна выходящая из облак Рука в серебряных Латах с поднятым вверх Мечем».

Конечно, эта небесная охраняющая длань их Ангела, небесного покровителя Рода. Ангел в серебряных латах, бессмертно-прекрасный воин, призванный защищать – самый драгоценный символ мужественности, усвоенный Жекки с раннего детства, пришедший к ней вместе с красочным рисунком под стеклом на стене отцовского кабинета.

Ангел, мужество и отец связались одной неразрывной связью в этой старинной грамоте, в этом кожаном и книжном кабинете, где даже в пасмурные дни было всегда светло, и где осушались даже самые горькие слезы. Туда, в это неиссякающее средоточие ясного света и невозмутимого спокойствия, нужно было бежать, чтобы выплакаться после незаслуженной тройки по математике в годовом табеле, неполученного в наказание за дурное поведение билета в театр, после всех более ранних полумладенческих ссадин и кровоточащих ушибов. Там было основание крепости, ее несокрушимый оплот, воздвигнутый для защиты от всех на свете напастей.

А еще были голубые тени в скованных морозом стеклах и легчайшая кисея, развевающаяся над тем же окном на полуденном июльском сквозняке, лаковый гладкий блеск опущенной крышки рояля, отражающий прозрачную банку с бело-голубыми цветами, шершавый и пыльный, уподобленный театральному занавесу, прабабушкин гобелен, изображающий охоту французского короля на лань, для чего-то оставленный в спальне, – вот они, отголоски того узнавания,

всплески родовой памяти, углубленные остротой собственных переживаний, узаконенные по праву подлинности личного опыта.

Жекки всегда подсознательно боялась расстаться с ним, своим, неотъемлемым. Особенно переживала в связи с неизбежным, как она знала тоже чуть ли не с младенчества, неизбежным замужеством. Когда же выяснилось, что имение Аболешева, расположенное в ста двадцати верстах от Инска, совершенно расстроено, а в городе он не может жить по «слабости здоровья», Жекки приняла, как незаслуженный подарок судьбы спокойную готовность мужа поселиться в ее родовом гнезде. Никольское перешло к ней в нераздельную собственность в виде приданого. И это был еще один, в сущности, незаслуженный дар – дар отца, дар ее старинного рода.

Поначалу она даже приняла согласие Аболешева жить в деревне как жертву, поскольку не мог же он, в самом деле, безропотно отказаться от привычного ему столичного комфорта или от роли полноправного помещика. Но Аболешеву, как оказалось, было не в тягость исполнение совсем другой, мало принятой в их кругу роли.

Нельзя сказать, чтоб он ограничивался пассивным наблюдением за хозяйственной активностью жены. Он уступил ей, конечно, прежде всего, под давлением собственной бытовой апатии. С другой стороны, потому, что понимал всю благотворность подобной уступки для Жекки. И все же, что бы

она ни делала, ей не приходилось сомневаться – Аболешев внимательно наблюдает за ней и при необходимости готов вмешаться, если посчитает, что она зашла слишком далеко.

Такого рода вмешательство происходило всего пару раз за пять лет их совместной жизни, и оба раза благодаря ему предотвращались большие неприятности. Аболешев был для Жекки подлинным, высшим арбитром, как в мелочах, так и в чем-то существенно важном. И всегда, как и теперь, он с неизменной заинтересованностью выслушивал ее жалобы, утешал, советовал, с готовностью отдавал ей те небольшие деньги, что получал за свое перезаложенное Поречье. Жекки могла ими пользоваться, как своими. Только вот для недоверчивых соседей все ее рассказы об участии Павла Всеволодовича в управлении имением проходили мимо ушей. Видимость была намного красноречивей, а выглядело все так, будто Аболешев всецело предоставил хозяйственные заботы своей юной эмансипированной жене.

Оставив Алкида на попечение конюха Дорофеева, Жекки вошла в дом. Что-то похожее на долгожданное облегчение охватило ее, как только она переступила высокий порог и вдохнула спертый воздух прихожей. Из столовой навстречу вышла горничная Павлина, полная, широкоскулая, смешливая девушка, нанятая в Инске.

– Слава Богу, барыня приехали – поприветствовала она.

– Что Павел Всеволодович? – спросила Жекки, быстро снимая на ходу шляпку и расстегивая жакет.

– Да уж с час как дома. Сейчас у себя в кабинете.

– Обедал?

– Им что-то нездоровится. Опять, как в прошлый раз.

И господин Еханс при них неотлучно. Господином Ехансом (правильно было Йоханс) Павлина называла бессменного камердинера Аболешева, выехавшего вместе с ним из Дании, где Аболешев в молодости служил при русском посольстве.

Жекки нахмурилась, поджала губы. Опять. Можно было догадаться, ничего нового. И все-таки, как защемило сердце. То, о чем упомянула Павлина, было самым тяжелым, самым мучительным, самым скрываемым обстоятельством ее брака с Аболешевым. То, что наряду с постоянными многодневным отлучками Павла Всеволодовича превращало этот брак в пустую формальность.

XII

Первые странности начались сразу же после свадьбы. Жекки и сейчас боялась невольно вскрикнуть от приближения той, самой захватывающей, самой непереносимой картины, сохранившейся в ее памяти. В полутьме роскошной спальни лучшего номера петербургского «Метрополя», дрожа от предстоящего неизбежного и волнующего волшебства первой близости, она не может найти себе места. Подходит к окну, отодвигает краешек штор, вглядываясь в холодную пасмурную ночь. Возвращается к зеркалу трюмо – в нем почти та же ночь, разбавленная едва уловимыми очертаниями ее белеющей фигуры. Отходит к кровати, пробует сидеть, но ноющее в груди волнение опять поднимает ее с места и гонит блуждать по комнате.

Он не идет. Как ни прислушивается она к малейшему шороху за дверью, как ни пытается утишить чугунные удары сердца, чей мерный гул отдается в ушах подобно перекатному эху от боя огромного колокола, как ни пересчитывает шаги от окна до двери и обратно – ничего не помогает. Его нет, и ее волнение, неудержимо нарастая, как снежный ком, вот-вот перельется через край потоком захлебывающихся отчаянных слез. И вот она падает ничком в атласную роскошь постели, вдавливаясь всем телом как можно глубже в это мягкое, гладкое, дорогое, что должно было принять ее как-то

иначе, а приняло вот так, на грани слезного взрыва. И тут ей слышаться запоздалые шаги за спиной. Каким невероятным образом она пропустила его приближение?

Может быть, она потеряла сознание на несколько секунд? может быть, уснула? Трудно объяснить. Она запомнила только короткий миг, когда в полутьме вспыхнул отблеск уличного фонаря, пробившего завесу штор и озарившего знакомую фигуру, склоненную голову, тонкие черты любимого лица. Его первое оглушающее «извини». Потом: «Я должен был решить кое-что... но ведь ты ждала, значит, и я не мог иначе». Почему он это сказал? Что это значило? Что он имел в виду? Жекки ни тогда, ни теперь не знала ответа. Она услышала его голос, почувствовала, наконец, его объятья, и подступившее было слезное изнеможение отошло прочь.

И вот эта почти что радость, почти что счастливое полуминутное забытие вывихнулось страшной раздирающей нечеловеческой болью. Скорее всего, она кричала, но не слышала себя. К тому же, он как мог, душил ее непрерывным убийственным поцелуем. Боль тоже казалась ей непрерывной. Как угодивший в яму зверь, бросающийся в бесплодных попытках спастись на отвесные стены, она изо всех сил пыталась вырваться, но то, что владело ей, уже не могло ее оставить. Боль обернулась клубящимся багрово-кровавым мраком, слившись с ним в нечто единое, убивающее все способности чувств, кроме чувства неутолимой багровой боли. И всего один раз, на долю секунды из этого багровеющего бо-

лью мрака вырвалось как будто при свете того же уличного фонаря знакомое тонкое лицо совсем с чужими, страшными глазами. Блеснувший в них красноватый огонь пронзил ее, но она уже не смогла испугаться.

Когда она очнулась, сквозь шторы пробивался слабый утренний свет. Аболешева рядом не было. Не было ничего, ни боли, ни мрака, ни страха – одна лишь поглотившая все пустота, пустота изнеможения. Неужели так будет всегда? Неужели так и должно быть? Неужели я буду это терпеть? Задав себе последний вопрос, Жекки немедленно ответила на него решительно и бесповоротно: «Ни за что. Сегодня же скажу ему прямо, пусть знает...»

Аболешев встретил ее перед завтраком. Он был взволнован, но умело это скрывал. Как ни старалась, она не могла объяснить выражения его лица. Чего в нем было больше жалости или вины? Что он пробовал донести через скованный поцелуй, через пожатие руки, через мягкое, ласкающее объятие? Аболешев долго не решался заговорить, обуздывая какой-то властный внутренний позыв. Тогда она поняла, что ни за что на свете не сможет сказать ему то, что хотела. «По крайней мере не теперь, не в эту минуту».

А потом, в шуме и суете дня, скучной череде поздравительных визитов, среди неизбежного сумбура встреч и необязательных разговоров, острота испытанного потрясения постепенно угасла, ушла куда-то глубоко, в потемки души. Лишь с приближением вечера на нее навалилась мрач-

ная тоска ожидания. Хотелось сбежать куда-нибудь далеко-далеко, только бы не видеть сгущающихся за окном сумерек. Аболешев весь вечер не отпускал ее от себя, и только когда они снова остались вдвоем, сказал, отрывая от себя каждое слово с таким усилием, точно они были прикованы к его языку: «Жекки... я знаю, я виноват перед тобой. Не в том, в чем ты могла бы упрекнуть меня утром или, может быть, попытаешься обвинить сейчас. Я виноват в другом, более важном, о чем не имеет смысла сейчас говорить. Ты к этому не готова. Нет, прошу, не возражай, а просто послушай. Ты не готова и не поймешь. Но ты не должна меня бояться, Жекки. Этого больше не будет. Даю тебе слово. И еще. Чтобы потом ни случилось, чтобы тебе не пришлось узнать обо мне, я хочу, чтобы ты знала – в этом мире я люблю только тебя. Слышишь, Жекки, только тебя!»

Да, кажется, она слышала. От его слов так знакомо веяло мягкой прохладой, нарастающей в тишине нежностью, привычной неизменностью всего, что их окружало. Вместе со звуками его голоса давящее ожидание незаметно сходило на нет. Возвращалось радостное забытие влюбленной девочки, все прощающей и еще не способной вдуматься в глубокий смысл собственных переживаний. Был только один вопрос, как-то неосторожно вырвавшийся у него напоследок, вопрос, заставивший ее вздрогнуть: «Скажи, ты что-нибудь видела?» Он имел в виду, разумеется, прошлую ночь. Она приоткрыла губы, но замотала головой, отрицая собствен-

ные воспоминания. Аболешев отвернулся. От нее он не хотел принять даже невинную ложь. Но, избегая правды, Жекки обманывала прежде всего себя. Аболешев ушел в соседнюю комнату, пожелав ей спокойной ночи. Она слышала, как в замке его двери повернулся ключ.

Затем пошли дни и месяцы, очень похожие по ощущениям на безмятежное счастье двух влюбленных. Очень похожие, и все-таки каждый из них знал подноготную этого счастья, вкрадчивую червоточину, по капельке выделявшую свой скромный яд. Яд сочился подспудно, и подспудно что-то стало шаг за шагом меняться в невидимой ткани, связавшей их судьбы.

XIII

Через десять месяцев после свадьбы, путешествуя по Италии, они поселились на окраине старинного приморского городка, сняв небольшую виллу с садом. Жекки влюбилась в эту страну с первого взгляда, немножко сожалея впоследствии лишь о том, что лучшие, счастливейшие дни ее жизни подарила не Россия, а далекая прекрасная земля, безвозвратно забравшая себе кусочек ее сердца.

Она могла целыми днями, изнывая от зноя, блуждать по узким мощеным улочкам. Пить воду из городских фонтанчиков или красное вино, которое продавали уличные торговцы. Вчитываться в латинские надписи под статуями святых, выставленных под сводами тенистых базилик. Покупать виноград, наваленный влажными рассыпчатыми гроздьями в плетеных корзинах. Пробовать какой-то знаменитый сыр в лавке, пахнущей кислым молоком. Наблюдать за жизнерадостной теснотой улиц, вглядываясь в разнообразие снующей пестрой толпы. И особенно долго и вдохновенно могла бродить по берегу моря, вбирая в себя далекий блуждающий простор, смешанный с бездонно сияющей небесной лазурью. Эту несказанную свежую синь ей хотелось пить как вино, опьяняясь без всякой меры. И, кажется, именно тогда, Жекки поняла, как обострены у нее все ее чувствительные способности, что, по большому счету, она и любит, и пони-

мает только такой мир, дающийся в цветах, звуках, вкусовых оттенках, в отмирании и обретении осязательных нот. И чем полновочудней сияли вокруг краски, чем многограннее переливались звуки, тем полней билась в ней жизнь, тем большую вовлеченность в эту жизнь она ощущала.

Аболешев тоже по-своему любил Италию и вначале, точно так же как Жекки, неумоимо посещал вместе с ней все достопримечательности. Гулял по городу, кормил ее виноградом, катал на коротконогом несчастном ослике. Подолгу бродил вместе с ней вдоль берега, рассказывая при этом самые невероятные и остроумные истории, какие Жекки когда-либо приходилось слышать.

С ним никогда не было скучно. Он мог бы часами рассуждать об архитектурных особенностях какой-нибудь старинной сельской церквушки, к которой они подбирались в своих неспешных прогулках. О том, почему позднее средневековье так отчетливо запечатлелось в ее выбеленных временем стенах, раздробленном свете, бьющемся сквозь узкие витражи ее окон, и почему дух какого-нибудь четырнадцатого века до сих пор так упорно живет в прохладном сумраке под глубокими сводами, расписанными полустертыми фресками. Но, замечая быстро потухающий интерес в глазах Жекки, он обрывал себя на полуслове. Он слишком хорошо знал, что Жекки гораздо легче увлечь какой-нибудь совсем недавней историей, хотя бы и вычитанной в газетах. Поэтому торопился рассказать уморительный, но, по-видимому, мало

ему интересный анекдот. Жекки смеялась.

Она и с гордостью, и с некоторой завистью думала, до чего же он умен, и как неподражаемо обаятельно в нем прискорбное для большинства людей сочетание многих знаний со многими печальями. Возможно, потому что те, и другие принимались им с одинаковой благожелательностью. Его эрудиция подчас даже пугала, казалась невозможной, и что особенно удивляло – сковывала самого Аболешева. Он словно бы стеснялся ее. Как-то заметив у него книгу на незнакомом языке, Жекки спросила, что это. Аболешев несколько потупился и нехотя сообщил: «Камозэнс. Представляешь, нашел здесь в оригинале». Жекки испытала страшную неловкость, потому что понятия не имела, каким, собственно, должен быть оригинал. Библию Павел Всеволодович читал на древнееврейском, Тацита по-латыни. С местными говорил на прекрасном итальянском. По утрам с интересом пролистывал «Таймс», а французский, который Жекки немного знала, употреблял свободно и без стеснения, как вполне узаконенное в их кругу дополнение к русскому. Сколько на самом деле он знал языков, сколько всего успел прочесть, увидеть, услышать и передумать, Жекки могла лишь догадываться, поскольку Аболешев никогда не распространялся на сей счет. Его катастрофическая образованность давала себя знать лишь исподволь, разоблачая себя ненароком.

С того самого дня, как еще задолго до женитьбы он вышел в отставку, Аболешев ничем особенно не занимался, и

это его нимало не смущало, в отличие от Жекки, воспитанной на примерах беспорочной службы многочисленных родственников. Напротив, Аболешев вполне определенно считал сложившееся положение вещей самым естественным, а доведенную до ступеней высокого искусства праздность называл почетным бременем всякого благородного человека. Разносимое им при этом полное неприятие окружающего было бы, пожалуй, невыносимо, если бы не смягчавшая его барственная лень и показная беззаботность.

Он никогда не избегал общества с намерением, но и не любил бывать в нем, словно заранее зная, что от его присутствия у людей не прибавится приятных эмоций. И при всем при том, вокруг Аболешева вечно вились какие-то человеческие вихри, словно бы их манило нечто более сильное, чем простое любопытство или уважение. И всегда и всюду эти вихри разрывались резкими порывами вдруг вспыхивающей ненависти или страха, притом, что Аболешев никогда не позволял себе никаких вызывающих поступков, не говоря о прямых оскорблениях – все вульгарное претило ему.

Да, Жекки, к собственному сожалению, всегда чувствовала вполне отчетливо – ее муж вызывал вместе с завораживающим интересом к себе какую-то непонятную боязнь, какое-то необъяснимое произвольное отталкивание. Он никому не позволял приблизиться.

Со временем она должна была признаться, что Аболешев вообще с трудом переносит общество себе подобных. Что за

его безупречными манерами и ледяной учтивостью всегда скрывается недвусмысленное презрение ко всему и вся, или вернее – какая-то безотчетная нервная брезгливость, не различающая людей, лиц и званий. Исключением в их ряду была, разумеется, она, Жекки. И, возможно, еще один – два человека. Не более. Жекки не раз ловила себя на безутешной мысли, что и к самому себе Аболешев едва ли более терпим, чем ко всем прочим, не попадающим в разряд исключений. И это смутное сознание открытого ей, но неизвестного, как казалось, другим нравственного недуга Аболешева, мешало ей чувствовать себя с ним раскованно. Кроме того, ее постоянно отягощали опасения, что люди, поняв его, отвернутся от них обоих, а этого ей совсем не хотелось. Независимо от своего отношения к окружающим, Жекки постоянно нуждалась в людях, безотчетно принимая и даже любя их в зависимости от обстоятельств, то произвольной, чистой, то корыстной любовью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.